

Антология РЕАльной Литературы

**владимир чиликин
прощённый день
стихотворения**

www.promegalit.ru

ВЛАДИМИР ЧИЛИКИН
ПРОЩЁННЫЙ ДЕНЬ
стихотворения

УДК 821.161.1
ББК 84 (2Рос=2Рус) 6-5

Владимир Чиликин. Прощённый день - сер. «Антология РЕ-
Альной Литературы» - Евразийский журнальный портал «МЕГА-
ЛИТ» - Кыштым, 2016 г. - 272 с.

УДК 821.161.1
ББК 84 (2Рос=2Рус) 6-5

ISBN 5-87039-089-17

© Владимир Чиликин, стихотворения, 2016

© Александр Петрушкин, дизайн, верстка, 2016

ОГЛАВЛЕНИЕ

БЛИНЫ /7/	
СВАДЬБА /8/	
А вокруг и стражники, и ключники /9/	
ТЮРЬМА /10/	
ГОРЬКИЙ ХЛЕБ /12/	
КЛЮЧНИЦА /13/	
БЕЗ НАС /15/	
УТРЕННИЙ РАЗВОД /17/	
ПОБЕГ /19/	
ОТПУСКНИЦА /20/	
ПЕРЕСЫЛКА /21/	
ВЫПЬ /24/	
А мы ведь ваши, плоть от плоти – ваши /25/	
ОСЕНЬ /26/	
Мне удалось дожить до сорока /27/	
РАССВЕТ /28/	
Казалось бы, лишь руку протяни /29/	
Ну как не думать о хорошем /30/	
Баллада об отцовской улице /31/	
Всё спешим /33/	
Любимой /34/	
Если бы не ты, наверно, не было /36/	
Пустошь /37/	
Памяти сестры /39/	
Дорожа оставшимися днями /40/	
Ода шпаргалкам /41/	
Притча о милости /42/	
Зачем-то писалось /44/	
Прозрение /45/	
Крик /49/	
Что-то и весна меня не радует /51/	
Беглецу /53/	
Как ночь земная ни длинна /54/	
Размышления на 101-ом километре /55/	
Притча о замполите /60/	
Отвыкаем друг от друга, отвыкаем /62/	
О ранних свадьб горестный обман /63/	
Да гори ты огнем голубым /64/	
Вроде и не за что сильно любить /65/	
МОЙ РОТНЫЙ /66/	
САМИЗДАТ /67/	
ТВАРДОВСКИЙ /69/	

НА ХОЛМЕ /71/
Для облегчения участи /72/
Плантация /73/
ОСЕНЬ 1961 /75/
СТАРЫЙ СНИМОК /77/
ЖМЫХ /79/
Как близко в российском пейзаже /81/
ПЯТЫЙ УГОЛ /83/
Коченею от горьких известий /84/
ЖРЕБИЙ /85/
И все-таки – выжить, спастись, уцелеть /87/
ПЛАКАТ /88/
Да зря ли и тогда, в кручину адову /90/
Дивны дела твои, господи /91/
ИЗОШУТКА /92/
Давно ли в канун воскресений /94/
Жизнь прожить на земле /95/
СЛАВКИНЫ КОВРЫ /96/
НА СОПКАХ МАНЧЖУРИИ /97/
ДЕРЕВЕНСКИЙ ДУРАК /99/
ИСХОД /100/
У ВОЕНКОМАТА /101/
БУДОЧНИК /103/
Просеяна в дьявольском сите /105/
А может быть – пора за дело /106/
БЕЖЕНЦЫ /107/
СОЛОВЕЦКАЯ СИРЕНЬ /109/
ПОСЛАНИЕ В НИКУДА /122/
НА ДНЕ /124/
ГОРОД ГЛУПОВ /126/
ПАСЫНКИ /129/
ПЕСЕНКА ТАЁЖНИКА /131/
КОСТИ /133/
Они на цыпочках ходили /134/
АНТИОПТИМИСТИЧЕСКОЕ /135/
Все о прошлом да о прошлом /137/
ИЗ ТУПИКА /139/
Истошный морок январей /140/
РОССТАНЬ /141/
НЕКРАСОВ /142/
Вот и порвана цепь – и повыпали звенья /144/
САЛЬЕРИ /145/
В этот город /148/
МАНЕКЕНЫ /149/
ИСПОВЕДЬ ВСУЕ /154/

ВМЕСТО ПРОТОКОЛА /159/
 В ОДНОМ БАРАКЕ /160/
 В ВАГОНЕ /163/
 В РАЙОТДЕЛЕ /166/
 ЭЛЬДОРАДО /168/
 В ПРОТАЛИНЕ ОКОННОЙ /172/
 СВАЛКА /176/
 ДА КТО ЖЕ ТЫ? /181/
 И СОЛЬ УТРАТ /183/
 ЭПИСТОЛА ОТЦУ /184/
 ВМЕСТО ПРОТОКОЛА /186/
 НАПОСЛЕДОК /187/
 ОСЫПАЕТ ЛИСТВУ КАЛЕНДАРЬ /189/
 РЕМЕСЛО /192/
 ПЕРЕПУТЬЯ /196/
 РАЗДУМЬЯ /203/
 ТЕ ПЕСНИ МАМИНЫ /208/
 А МОЛОДОСТЬ ПРОШЛА /211/
 Ветви безмолвно воздеты /215/
 АСТРЫ /217/
 Опять зачем-то валят лес /219/
 ВСЁ ТЕ ЖЕ /220/
 Будет ломка, ошибка, переплавка /221/
 Единожды солгавши, позабудь /222/
 Не таю ни лютости, ни злобы /223/
 Ведь я назвал тебя женой /225/
 Словно провинились перед нами /226/
 За миску лагерной баланды /227/
 Кому дано, с того и спросится /228/
 ЖЕНСКАЯ БРИГАДА /229/
 Голосистый берёзовый воздух /230/
 От Кодара и до Куанды /231/
 ПОПУТЧИК /232/
 ДВОЙНИК /233/
 УРОН /235/
 КУРОПАТЫ /236/
 Отбываю к чёрту на кулички /238/
 Разлад. Раскол /239/
 Уж лучше лихая неволя /240/
 Над рябиновою гроздьёю /241/
 НАСЛЕДСТВО /242/
 Нет, мы не хлюпики, не нытики /244/
 СКОПОМ /245/
 Тысячелетие Руси /246/
 ПАСТОРАЛЬ /247/

Да гори ты огнем голубым /249/
РОМАНС /250/
ПРОЩЁННЫЙ ДЕНЬ /251/
ВОСПОМИНАНИЯ /252/
Петербург, я ещё не хочу умирать /254/
АНТИУТОПИЯ /255/
ОБРОК /257/
И всё-таки — выжить, спастись, уцелеть /258/
Просеяны в дьявольском сите /259/
ПАСЫНКИ /260/
ЭЛЛИН /262/
Не много же счастья на графских развалинах /264/
ПОДРАЖАНИЕ ПЕСНЕ /265/
РОЖДЕСТВО /267/
ПРОВИНЦИЯ /269/

БЛИНЫ

Отцу

С утра во рту – ни маковой росинки.
Блокадный город, память, сохрани.
Промозглая промёрзлая Россия
детишкам выделяет сухари.
Затравлен бесприютною позёмкой
нахохленный солдатский костерок:
в той доле, неприметной и негромкой,
кипит впотай голодный котелок.
Над мигом тем какая властна буква,
в какой устав невзгоды занесли?
Но как вкусна мороженая брюква,
добытая штыком из-под земли.
Смутив охрану запахом крамольным,
по счастью, из окопов не видны,
вожди разора в затаенном Смольном
пекут впотьмах воскресные блины...
1966

СВАДЬБА

На свадьбе бьют посуду,
горшки – на черепки.
Взлетают с буйной удалью
сухие черенки.
Я, гость неприглашенный,
ненастней сентября,
сквозь говор приглушенный
угадывал тебя...
Нет, я не оступился:
влетев в пустой вокзал,
я очень торопился
и очень опоздал.
Вот верь теперь экспрессам...
Зачем везли они
туда – к тирадам пресным
насмешливой родни?
- Успел поди, а там уж
бокалы – по края...
А ты выходишь замуж,
да свадьба – не моя.
И все же не спасую,
прошу иметь в виду:
на счастье бьют посуду,
а может - на беду...
1965

А вокруг и стражники, и ключники
проводят нас в неблизкий путь.
На запястьях цепкие наручники —
не откинуть их, не отряхнуть.
И, путая сонного прохожего,
он ещё такого не видал,
о судьбу, что разом искорёжена,
вороненый кидает металл...
Век двадцатый, и твои отлучники
по Руси, задворками её,
волочат клейменные наручники,
будто в них спасение твоё.
В той беде не всякий может выстоять,
не таясь, не опуская глаз.
Как же ты решился нынче выставить
всю свою изнанку напоказ?..
Всё пройдет, всё кончится, и всё-таки
усомнишься боязно на век
в лозунгах твоих,
что наспех сотканы:
брат ли человеку человек?
Пусть моим бессильем позабавиться
волен ты играючи теперь,
не спеши бездумчиво избавиться —
я ещё понадоблюсь тебе...
1976

ТЮРЬМА

Изломан весь, и всё-таки не сломлен,
наотмашь бит, и всё-таки стою...
Не выстругать проворное весло мне,
не выстроить мне ходкою ладью.
Не выплыть, громыхая цепью ржавой,
на стрежень, уходя наверняка
из крепости, особою державной
воздвигнутой когда-то на века...
Тут мрак и смрад.
В зашоренные окна,
как жёсть резная, сыплется листва
и коченеет солнечная охра,
не здесь, а там безоблачно ясна.
Как закрутилась жизнь витиевато:
намучишься, распутывать начни...
И лампочка глядит подслеповато,
как волчий зрак, затерянный в ночи.
Ей всё равно, какие бродят страсти
в юдоли этой, что на всех одна.
И, словно пайку, рвёт тоску на части
озлобленная трезвая братва.
Кого-то бьют приветливо и тихо,
кого-то раздевают донага.
Взаправду, нет ли – разбери поди-ка,
вахлеб валяет кто-то дурака...
В бессонном ожидании этапа
уймется вряд ли эта кутерьма.
Как будто обретенная Итака,
сулит забвенье старая тюрьма.

Скрипя замками муторно и ржаво,
на вскрике ли, на взмахе ли замрёт,
и просветлённый голос Окуджавы
с недалёких улиц
к небу позовёт...
Она за всё сполна сегодня платит,
как ливень полосатая притом,
смеётся и, затравленная, плачет
и бьётся головою о бетон...
1976

ГОРЬКИЙ ХЛЕБ

По вторникам – уха из хека,
по средам – призрачные щи.
Но, как ведётся тут от века,
иных посулов не взыщи.
Горелый, с коркою отсталой,
и вкус не тот, и вид нелеп,
как мы, недобрый и усталый,
и всё же, всё же – это хлеб...
Вот и поделен он на пайки
суровой ниткой, без весов.
И нет обмана, нет утайки
и недовольных голосов.
Гремит угрюмо в сотню ложек
сиротский вдумчивый обед.
Здесь не роняют даже крошек,
поскольку их, излишек, нет...
И пусть не все мы сладко жили,
хоть ни блокады, ни войны,
иной любви не заслужили
мы у кормилицы – страны.
Шептал и я, свой крест несущий:
«Чего достиг? К чему пришёл?»
Как невесом ты, хлеб насущный,
и как же всё-таки тяжёл...
1976

КЛЮЧНИЦА

У ключницы ключицы острые
и злые сонные глаза.
Она на жутком этом острове
само проклятье и гроза.
Она сквозь скважину замочную
любые выглядит грехи;
она порою полуночную
доносы пишет, как стихи.
Не славным делом замордована,
гремит ключами, матерясь,
сама как будто замурована,
вся в несмываемую грязь...
Ну что осталось в ней от женщины,
от светлой святости её?
И вся-то жизнь – сплошные трещины,
Паёк. Немилое жильё.
Киношка. Хлопоты казенные.
Замки – засовы день – деньской
да грёзы давние, казнённые
недоброй, в общем-то, деньгой.
И вновь ночами безысходными
необогретую её
глазами жадными, голодными
по-свойски лапает жульё.
И жаль её мне, непутёвую,
да кто отважится спасти
за сытость сонную
готовую
любые каверзы снести...

Куда бежит она, зарёвана?
Кому несёт оглохший плач,
душой и телом разворована,
сама себе – ночной палач?
Неужто так и не разучится
сносить ухмылки и плевки?
Уймись ты, ключница – разлучница,
беги куда-нибудь, беги...
1976

БЕЗ НАС...

«...а без меня народ неполный».

А.Платонов.

Нас гнали строем по пятёркам,
и мнилось мне: зачем стою
в том мешковатом и потёртом,
в том обезличенном строю?
Перед неведомым распутием
в пустых непаханных полях
пугал безмолвьем и безлюдьем
размытый паводками шлях.
Понуро горбилась часовня.
Чернел погост в березняке.
И, сам себе уже не ровня,
я брёл по лужам налегке.
Мерцали звёзды и сигарки,
штыков блескучие клинки.
И ярко скалили овчарки
вслед раскалённые клыки.
Стегал конвой пунцовым матом,
и были мы отныне вне
былых времён –
под автоматом,
что лишь до срока на ремне...
Какая праведная сила
там, где шлагбаум полосат,
вдруг осенит:
всё это было
и сто, и двести лет назад...

Ещё не знавшему потравы,
наивно думалось и мне:
не будь меня – и даже травы
иными станут на земле.
Но почему, скажи на милость,
и полдень нынче не погас,
и ничего не изменилось
на свете белом и без нас?..
1976

УТРЕННИЙ РАЗВОД

В кирзачах, бушлате грубом,
дождь или слёзы по лицу,
оркестровым внемля трубам,
я ли маюсь на плацу?
И, пройдя огни и воды,
медных труб зловеший гром,
эти ранние разводы
постигаю всем нутром.
Вот провалится, как в яму,
в пасть ощеренных ворот,
поминая папу – маму,
злой людской круговорот.
Те – налево, мы – направо.
Лом, лопата да кайло.
Землеройная орава,
мне с тобою повезло.
Мы за всё берёмся скопом,
бьём скалу и месим грязь,
словно был я землекопом
век недолгий отродясь.
Вся бездонная траншея
нам на откуп отдана...
Только есть и пострашнее
доле нынешней цена.
Не лопата, не работа –
злой тоски нещадный гнёт
не единойжды кого-то
в три погибели согнёт.

Я и сам не из гранита,
но по мне — спасенья нет,
если чёрная обида
занавесит белый свет;
поразвеет — позабудет
разом, напрочь, навсегда
то, чего уже не будет
в этой жизни никогда...
1976

ПОБЕГ

В немой рассвет, исхлѣстанный стрельбой,
вороний грай рассыпан, как дробинки.
И мог бы в этот час из нас любой
шагнуть по той единственной тропинке,
что отделяет от небытия,
на правых и неправых разделяет:
один бежит от жутковатого житья,
другой в него без промаха стреляет.
О том не вскрикнет громкая молва:
подумаешь – отчаянье сломило...
И даже материнская мольба
от пули той его не заслонила.
И вот в сугроб
уткнулся он ничком,
в зеркальных отраженный голенищах.
И, шапки сняв, глядим и мы молчком, –
из тех же обездоленных и нищих.
Его ровесник – нынешний стрелок,
невозмутимый и прилежный воин,
меж пальцев крутит крохотный брелок,
по-своему, наверное, доволен.
За бдительность и стойкость на посту
ему положен отпуск краткосрочный.
За благодать обыденную ту
всего-то нужно – только выстрел точный...
Толпимся у запретной полосы,
от тяжких дум очнёмся мы не скоро.
И лижут обезумевшие псы
кровавый снег
у чёрного забора...
1976

ОТПУСНИЦА

Принарядилась зона неспроста –
грешно ей на обновы поскупиться:
и в эти отдалённые места
рисковые нагрянут отпускницы.
Встречать – встречай,
Но осуждать – не смей,
хоть в жизни с ними
всякое бывало
и манит недоступностью своей
запретная черта лесоповала.
Но обойдён и бдительный конвой,
и там, где раскурчавилась малина,
щебечут ни о чём наперебой
Елена, Валентина и Марина...
Их чаянья кому тут не ясны?
И, подивясь их редкостной сноровке,
проводят вдоль затопленной лежнёвки
до новой, коль придёт она, весны...
Куда они в токую даль пешком?
О чём судачат, без вина хмельные,
мусоля на обочине тишком
залапанные деньги «отпускные»?
И пусть удел их нынешний рисков,
даров твоих с лихвою хватит, зона,
до нового потешного сезона,
до новых суматошных отпусков...
1976

ПЕРЕСЫЛКА

Кому – беда, кому – забава,
кому – прозрение, а кому –
давно не тягостное право
и жизнь оставить на кону.
Её на добрую закрутку
сумеешь выгадать едва ль,
когда нежданную побудку
объявит ветреный февраль.
И, вьюча дальнюю дорогу,
нечеловеческий содом
сквозь забубенную мороку
вовсю честит казённый дом.
У перекатной этой доли,
что бесконечна, как кольцо,
одно на всех
и в этом доме
неразличимое лицо.
Как перетруска, пересылка
Иль пересортица сама,
перемешалась пересылка –
незрячий посох и сума.

Откуда вы?
Да отовсюду.
И вроде некого винить
за то, что списанному люду
кручину нечем заменить.
Мятежный нрав в себя упрятав,
как в потаённый узелок,
о чём задумался, Саратов?
Кого припомнил, Таганрог?

Твоя ли мова, белый Киев,
волной днепровскою звенит?
Ну а твоих залётных Виев
какая думка осенит?
О сколько нас под небом колким
ютится, словно подо льдом:
мы — только жалкие осколки
того, что обществом зовём...

Под лязг холодного металла,
в измятом бредом полусне
пойми: чего же не хватало
всем по отдельности — и мне.
И как ты там ни ерепенься,
как ни развёрстывай хитро,
в уклад осторожный
вогнан весь я,
и зябко ёкает нутро.
Густых обид не экономя,
с неясным страхом и мольбой
ждём вологодского конвоя,
не пощажённого молвой.
Уже рассыпан тяжкий топот
солдатских кованых сапог.
Вот и сгодился давний опыт —
как запастись терпеньем впрок...
Не зря ли жизнь нам нагадала
истлеть с травой наравне
кому — под небом Магадана,
кому — в заволжской стороне?
Под зноем злым,
под чахлым снегом
ужели выпадет кому

удел остаться человеком,
а не медяшкой на кону?

Как перетруска, пересыпка,
как перемётная сума,
перемешалась пересылка,
сойти готовая с ума.
То в лицедействе, то без грима,
одной тщетой, как бечевой,
повязан прочно и незримо
нелепый табор кочевой...
1977

ВЫПЬ

В сорока верстах от Красноярска
(лишь сохатый там отыщет брод)
зацветает вздыбленная ряска
в непроглядной сутеми болот.
Жуткими и чуткими ночами
в той забытой богом стороне
вестники неслыханной печали
до сих пор мерещатся и мне.
Сила ли нечистая какая
баламутит сумрачную зыбь?
Тени ли заблудшие скликаю,
голосит пронзительная выпь?
Что там за таинственные вспышки
озаряют потаённый брод?
Даже часовых на дальней вышке
бьёт озноб и оторопь берёт.
Мнится им: всё медленней и глуше
посреди нахохленных лесов
бродят неприкаянные души
сгинувших в болоте беглецов.
Всех, кого, от жадности шалея,
заманила гибельная зыбь,
как своих сородичей жалея,
горькая оплакивает выпь...
1977

А мы ведь ваши, плоть от плоти – ваши,
из той же самой безымянной фальши,
той самой лжи и коммунальных склок,
как жаль, но вам всё это невдомёк.
Колючей отделённые чертою,
безверием, доносами, тщетою,
наскоками изменчивой молвы,
мы, нынешние, это ведь и вы...
порывом неосмысленным распяты,
хранят нас красноезвёздные ребята,
касясь автоматного цевья.
Они и ваши тоже сыновья.
Когда нас бьют пинком или прикладом,
вас рядом нет, и всё-таки вы рядом;
вовсю о милосердии трубя,
к чему приговорили вы себя?
И вас в тисках зажали, нерушимы,
особые и строгие режимы,
и делим мы, сановник и батрак,
один и тот же лагерный барак...
Когда нас просто так, на всякий случай,
погонят в ночь тропюю неминуемой,
то, прежде чем заполнить нами рвы,
прозрейте: нынче – мы, а завтра – вы...
1977

ОСЕНЬ

Известь ли казённая сера,
день ли тусклый вянет – угляди...
Помяни далёкое вчера
и, как стаю птичью, проводи.

Мне теперь туда заказан путь,
заколочен чёрствою доской.
От реки, аж боязно вдохнуть,
тянет лазаретною тоской.

Ветер хлещет ветками сплеча,
всполохами плещет по стене.
Вот и догорает, как свеча,
лист кленовый на моём окне...
1977

Мне удалось дожить до сорока,
Не подличая и не пресмыкаясь...
И всё-таки и я сегодня каюсь,
на прошлое взирая свысока.
О как его мы дружно костерим,
наперебой клянём и упрекаем...
Но только кто, скажи,
из нас не Каин?
Кто без оглядки
смыл проклятый грим?
Ещё вчера любой и глух, и тих,
с былым сегодня затевает войны,
громя вдогон властителей своих –
всех тех,
кого и были мы достойны...
В густых силках нехваток и прорех,
Теперь-то всё дотошно подмечая,
один на всех
несём мы тяжкий грех –
безропотное рабское молчанье...
1987

РАССВЕТ

Осталось ночи на одну затяжку.
И вот сквозь муть,
где и прогляда нет,
как в медную надраенную пряжку,
в окно ударит кипенный рассвет;
и соскользнёт по вымокшим ступенькам,
глухую темь откинёт, как засов,
и пронесёт по дальним деревенькам
иной порыв,
иной заветный зов.
Ещё непостижим он, дух приволья,
на краешке измученной земли,
где нынче и осиновые колья
зелёной цветью дерзко проросли...
1985

Инне

Казалось бы, лишь руку протяни,
И вот оно – невиданное счастье.
Да сгинь ты, ненавистное ненастье, –
светлы и беспечальны наши дни.
Но гаснет всё.
И прядь твоих волос
в последний раз щеки моей коснётся.
И всё, что уберечь не довелось,
прощальным эхом в небе отзовется.
Лишь в горьком сне
мелькнёт родная прядь,
но даже сны в разлуке опустели.
Неужто вправду нужно потерять,
чтоб осознать пронзительность потери?..
1988

Ну как не думать о хорошем:
ведь сколько света пролилось,
и полдень ливнем огорошен —
рябым и солнечным насквозь.
И, осмелев на склоне лета,
у кромки века своего,
окрест воскликнешь:
«Больше света!»
Мы так отвыкли от него...»
1985

Баллада об отцовской улице

- Живы будем – не помрём,
а помрём – не будем.
Всё осилим, всё поймем,
всё оставим людям.

Но ударит ликом в грязь
в свой последний полдень,
без опаски становясь
на правёж господень...

Балагурий батя мой,
топором махая.
Взгляд лучится синевой
из-под малахая.

Он на краешке весны,
в деле неуёмен,
ладит прочные венцы
из сосновых брёвен.

Пусть на летошней золе
встанет дивный терем:
ведь не всё же на земле
счёт вести потерям.

Он на давешней войне
нагляделся вдоволь
на руины, что в огне,
да на слёзы вдовьи.

А когда настал конец
тем заклЯтым мукам,
взялся плотничать отец —
разом, самоуком.

Сколько их, безвестных хат,
да с резьбой фасонной,
понастроил ты, солдат,
на земле спасённой...

Степь поди, исколеси:
жизни всей основа
протянулась вдоль Руси
улица отцова.

Знает высушен насквозь,
грустен или весел,
он доныне знатный гость
в тех незнатных весях...

Он всё чаще по ночам
молчаливо курит.
Но, страду свою начав,
так же балагурит:

- Жизнь светла,
коль в добрый час
всё, что в ней добудем,
не заначим про запас —
всё оставим людям...

1965

Всё спешим...

Всё бежим, всё куда-то спешим
от ферзя до мятущейся пешки;
негодуем, ликуем, грешим,
всё одно – в замороченной спешке.
И, сойдясь за обетом вдвоём,
за столом неприкаянным нашим,
замыкаясь на чем-то своём,
и двух слов-то бывало не скажем;
не поднимем заждавшихся глаз,
будто вставлен в гортани дозатор.
То, что вдруг не сказалось сейчас,
отцветёт и померкнет до завтра...
1985

Любимой

Инне

Повыплаканы очи
и голос потускнел.
И ткут немые ночи
незнаемый удел.
Слезинку ли роняя,
тоску ли – всё одно,
зачем глядишь, родная,
в пустынное окно?
Там шествует неспешно
нежданная зима
и всё, что неизбежно,
несёт она сама –
никто её не просит...
Серпами холодов,
безжалостная, косит
кусты желанных снов...
... На шесть часов восточней
(всё в тот же день и час)
я от калитки прочной
не отрываю глаз.
И – от вестей зависим,
от бед и от побед,
всё жду заветных писем,
а их всё нет и нет...
Ну, что ж, я всё осилю,
мне отступать нельзя,
лишь были б вечной синью
наполнены глаза;

а там, душой святая,
тоски не умаля,
жила бы ты, святая
кровиночка моя...
1988

Инне

Если бы не ты, наверно, не было
в жизни, под уклон летящей круто,
этого наивного, нелепого,
внове обретенного уюта.
И бродить бы мне и зло, и весело
вдоль распадков, ливнями чёрнёных.
Столько жизнь всего накуролесила
в горечи изломанных черёмух...
не взыщи за то, моя владычица,
нынче я смиренный и покорный:
вряд ли столько кротости отыщется
на бывалой улице Подгорной.
Под худой распалистою кровлею
лиственниц, омытых беглым ветром,
разве ты была когда неровнею
всем моим желаниям заветным?
Разве не клялись ночами белыми:
будем и у пропасти отважны?..
Что бы мы с тобой на свете делали,
если бы не встретились однажды?
Всё одно: бродил у кромки неба ли,
пропадал ли в паводках гремучих,
если бы не ты, вовеки не было
солнышка в глазах моих дремучих...
1988

Пустошь

Памяти Виктора Ерофеева

Я другу не ответил на последнее письмо...
О, суета сует, когда же ты отпустишь?
Отчаянья не ждал – нахлынуло само,
сиротства не искал – и вот сквозная пустошь.
Скитальческий удел, за что ты к нам суров?
Все срочные дела минуя, как застава,
мне б кинуться стремглав
в уральский град Серов,
и друга моего я всё-таки застал бы.
Порою без руля, порою без ветрил,
в какие я спешил заоблачные нити?
Я чествовал не тех, не тех боготворил,
беспечно позабыв, кто мне родней и ближе.
И вот иссяк мой друг...
Хотя и не слабак,
и в жизни-то ему
нужна была лишь малость,
но всё же завела в замызганный кабак
земная колея – и надвое сломалась.
Освистан сволотой, повсюду одинок
(хулители у нас на всякого найдутся),
по-рыбьи плыть не смел,
по-бабьи петь не мог
в желанных кандалах святого вольнодумства.
Но в этой суете, где торжище кликуш,
не песни, не вино, не женщины нас губят...
светлы чистовики смятенных наших душ,
а нам за них кресты безвременные рубят.

И гонит нас обочь отчаянье само,
и столько на земле
прощальных гимнов спелось...
Я другу не ответил на последнее письмо:
успеется, считал, да только не успелось.
Какая пустота...
Поди её развей,
а ведь ещё вчера вся жизнь казалась раем.
Всё чаще впопыхах теряем мы друзей,
а с ними и себя
по капельки теряем...
1976

Памяти сестры

Мы не увидимся с тобой –
Не сотворит чудес всевышний.
Но кто судил, что голос твой
под небом выплаканным лишний?
Кто написал нам на роду
терпеть ниспосланные нам ли
в недоброй спешке, на ходу
в затылок брошенные камни?..
Но, оборвав протяжный зов,
рассудок режут до упора
и жуткий скрежет тормозов,
и вопли пьяного шофера.
В петле охрипшей колеи
листва дробится, словно смальта,
осыпав локоны твои
у кромки алого асфальта...
И не развеять мне беды
глазами, горькими от соли,
и негде взять живой воды,
и деться некуда от боли.
И вот опять из немоты,
в которой страшно оглянуться,
ко мне всё тянешь руки ты
уже не в силах оглянуться.
И, словно в чем-то виноват,
у бровки, выгнутой подковой,
сквозит и мой ослепший взгляд
твоей тоскою васильковой...
1986

Инне

Дорожа оставшимися днями,
благодати радуюсь любой:
небу посветлевшему над нами,
вербам у запруды голубой.
Радуюсь и заводи я талой,
костерку, что рдеет впереди;
истине, хотя и запоздалой:
жизнь прожить – не поле перейти...
И для нас в прозрачные свирели
затрубят горластые ручьи:
вот и мы с тобой постарели,
раздарили праздники свои.
Дорожа оставшимися днями,
вдруг пойдем, по-доброму скорбя:
сколько же мы всё-таки отняли
радости желанной у себя...
1987

ОДА ШПАРГАЛКАМ

Сформулировали и сформовали
без меня – так и будет впредь?
Нерифмуемое срифмовали,
как ни тошно на то смотреть.
Даже в мыслях ни шатки ни валки,
прём в незнаемое напрямиком,
на спасительные шпаргалки
полагается целиком.
Многотомны они, многотомны,
лишь для нас – путеводный свет.
Но умильно галдим притом мы:
- Есть на всё и у нас ответ...
1965

ПРИТЧА О МИЛОСТИ

Я навёрстывал упущенное,
под откос бездумно пущенное.
Но минувшего доверия
не вернул ни в коей мере я.
Я изгнанников подсчитывал,
Солженицына почитывал.
Но не в этом ересь главная,
казус вышел, да такой:
надо б что-нибудь заздравное,
я прочёл за упокой...
скомкал вечер поэтический
в слепоте-то политической.
Пожутив для общей выгоды,
мигом сделали оргвыводы:
- Не сыскать мальчика коварнее...
- Ничего, исправит армия...
Сбыли буйную головушку
в забайкальскую сторонушку.
Тут багульники лазоревы.
Тут служу в обнимку с зорями.
Под опекою старшинскою
поумнел во многом шибко я.
Поведение – исправное:
ведь пою теперь заздравное,
и с охотой небывалою
стал я ротным запевалою.
В юбилей полка ракетного
шпарю я Демьяна Бедного...

Мне теперь не до проказ:
что устав и что приказ.
Всё скостилось мне по младости,
только мало в этом радости...
1967

Зачем-то писалось,
зачем-то копилось,
от шмонов спасалось,
ломалось, дробилось,
терялось в пороше,
поспешно сжигалось,
но легче и проще
в упряжке шагалось...
1977

ПРОЗРЕНИЕ

1

Столько столетий подряд,
ласкою бархатной любви,
гимны истошно трубят
иерехонские трубы.
Уйму столетий подряд,
краха и тлена предтечи,
льют не медовый ли яд
те же бесстыдные речи?
А на Руси благодать –
обморок злого затишья...
Многое рад бы отдать,
горькую правду услышь я.

2

Слово – как мыльный пузырь,
радужно и бестолково...
Очередной поводырь
жаждет блаженства земного.
Жаль, что неведом ему
путь до тюремной калитки:
вновь поклоняясь ярму,
Русь промотали до нитки...
Кто, сердобольный, припас
эти несметные блага?
Уж не в служанки ли вас
отдали, честь и отвага?
Но, не тая срамоты
нашей румяной эпохи,
пляшут впредь шуты,
плутни плетут скоморохи.

Пиршеством увлечены,
там, и с похмелья не хмурия,
сыплют, как просо, чины
и раздают синекуры.
Нынче в особой цене,
как и обряд поцелуя,
оды пустой «Целине»,
«Малой земле» аллилуйя.
Вторим умильной гурьбой
(вот ведь холопья порода):
«Партия – наш рулевой»...
«Главное – блага народа»...
Я-то, помилуй, причём?
Я-то с какого там краю
не посторонним плечом
немошный столп подпираю?
Кара ли чья-то страшна?
Выгоду ль чую какую?
Я-то какого рожна
рукоплещу и ликую?
Доли не видя другой,
вторит, не зная промашки,
мой бубенец под дугой
тощей российской упряжки...

3

Как мишуру ни расшей,
прёт из потёмок рутинных
хватка лихих торгашей
и борзописцев ретивых.

Но от газетных страниц,
что иноходца резвее,
хоть иногда отстранись,
сердцем неробким трезвея.
Под неусыпным кнутом
разноголосиц идейных
вызволи ленинский том
из казематов музейных.
И, потрясенный, замри:
сколько в нас всякого хлама...
Пусть до глубокой зари
светит зеленая лампа...
Злые раздумья сцепи,
истину вынь из забвенья,
заново ладя в цепи
недостающие звенья.
В век, что кровав и велик,
те ли скрижали искомы?
Тот ли вписали мы лик
В нимб чудотворной иконы?
Кто же, рассудком не дюж,
льёт в нас цветистую лажу?
Что же мы, взявшись за гуж,
посторонь тянем поклажу?
Белки в чужом колесе,
чтя золоченные были,
мы революцию все –
дружной артелью губили...
Вот она – горькая суть,
вот она – голая правда,
ради неё и тонуть,
и непокорствовать – надо.

Всё я отныне пойму,
свет отличая от мути,
не уступив никому
нашей безрадостной сути...
1975 -1981

КРИК

*Нет, лучше, лучше откровенный выстрел,
Так честно пробивающий сердца.
А. Баркова*

Все чаще бьют и словом, и дубиной,
и жутко мне, прозрев, произнести:
Отечество становится чужбиной,
умею ли в себе его спасти?
Как церковку,
что росписью рублёвской
на долгие века освещена,
иль блеклый отблеск
звёздочки кремлевской,
как знак беды которая видна.
Иль отчий дом шатровый
в три окошка
(в них до сих пор погромный стынет стук),
где злая полупьяная гармошка
выплакивала собственный испуг...
Нет, не объять рассудком той науки,
когда, юля, в лицо себе плюём,
когда и нам выламывают руки
и в переносном смысле
и в прямом.
Издержки затянувшейся утруски,
устанем ли когда боготворить
все то, что отучилось петь по-русски
и по-людски отвыкло говорить?

Нам путь один: в застуженный застенок
или того страшнее – в холуи...
Всего обидней сгинуть за бесценок,
когда с амвона лгут тебе свои.
Когда в ответ из непробудной чаши
то злобный крик,
то сатанинский смех.
И поневоле хочется всё чаще
простреленному пасть в горячий снег.
Затюканный, униженный, порочный,
Воплю я обомлевшим небесам:
«Пошлите мне один лишь выстрел точный,
я за него всё сущее отдам...»
1977

Что-то и весна меня не радует –
или к новоселью не готов?
Или жизнь моя
уже не ратует
за отмену долгих холодов?
А какими были оголтелыми –
у любой версты моей спроси...
Вербами и талыми метелями
пахнет воскресенье на Руси.
Только ни восторга нет, ни радости,
хоть сошли, как вешняя вода,
все мои падучие превратности,
может быть, и вправду – навсегда...
Но опять проследую по городу,
будто чуждедальной стороной,
усмехаясь в пепельную бороду:
«Вот и воротился ты домой...»
Крест могильный,
горький куст смородины,
что не знал цветенья своего,
всё, что мне оставлено от родины,
лишь пустырь – и больше ничего.
И опять разломит сердце трещина,
зачернеет, словно полынья.
И моя единственная женщина
не осветит скудного жилья...
Мне куда, в какую Абиссинию
или в аравийские пески
деться от минувшего бессилия,
кинуться от нынешней тоски?

Буднями, до серости забитыми,
в сумерки, когда совсем невмочь,
мне бы лишь подняться над обидами,
заморочки сердца превозмочь.
Ведь светлы в скитаньях и в горе вы,
воскресенья вербные мои...
Отчина, смятения изгоевы
От спасённых храмов не гони.
Расстелив ли в ад дорогу скатертью,
надевая ль мантию судьи,
Русь моя,
останься Богоматерью
даже на окраине судьбы...
1978

БЕГЛЕЦУ

Погоди злорадствовать, дружок, -
не впервой нас беды оросили.
Не спеши свой мелочный должок
предъявить страдалице – России.
Спросится по-разному за все
с нас, когда упрочится крамола,
хоть одно и то же колесо
вдоль и поперек перемололо.
Хоть одни и те же лагеря
нас гнилой похлебкою кормили,
не кого-то, а самих себя
мы за все лишения корили...
Беглый раб, изгнанником себя
там на все лады провозглашая,
спутал ты: опальная судьба –
не твоя, тебе она чужая.
Ты за прямоту не обессудь:
нету беглецу пути обратно,
потому как праведная суть
при любых оковах баррикадна.
Устоять бы в собственной золе,
посреди погромов и распятий,
на своей страдалице – земле,
на любой её кровавой пяди...
1979

Как ночь земная ни длинна,
дневного света не убавить.
Души живой не обезглавить,
покуда трепетна она.
Пока сочувствует всему,
что обещено и смято,
но и в грязи вселенской свято:
как ни лютой, но быть тому.
Не все в золе погребено,
не все сошло в глухие тени...
Неужто впрямь взойдет оно,
святое время обретений?
Да разве нечем дорожить
мне в горе суетном и мелком,
вновь обретая право жить
лишь по людским забытым меркам?..
1983

РАЗМЫШЛЕНИЯ НА 101-ОМ КИЛОМЕТРЕ

Пишу стихи. Жена торгует квасом,
клянет житье в рассрочку и авансом
и эти окаянные стихи.

На них поди сегодня проживи-ка:
бездомье, мрак – и никакого сдвига...
Как ей внушить, что это – пустяки?

Она всего боится по привычке:
в окне мелькнувшей милицейской лычки,
ночного стука, срочных телеграмм,
безденежья, отсутствия прописки,
наветов, что предъявлены, как иски,
провинциальных склочных мелодрам.

Благословен 101-ый километр,
куда я из московских выбыл недр,
уже сполна познавший вкус нужды.
Хоть жизнь моя пока не столь крамольна,
но здесь я поселился добровольно –
столице, брат, такие не нужны.

Там и своих хватает бузотёров,
известных и безвестных фантазеров –
хулителей российской мишуры.
Я – недалеко от кремлевской Тулы,
где сумерки по-старчески сутулы
в канун апоплексической жары.

Такая сушь – как бедствие мирское:
вовсю горит родное Подмосковье –
безлистые окрестные леса,
и застит дым сомлевшую округу.
Но жизнь течет по затонному кругу:
все тот же гуж. Все те же словеса...

Я литрабом служу при райгазете,
весь выровнен, спрямлен и все – в анкете),
как проволока в мастерских щипцах.
Ликуют и в моих лукавых строчках
комбайнеры в нейлоновых сорочках,
доярки в накрахмаленных чепцах.

Мой благодетель Леопольд Иванович,
неладным словом будь помянут на ночь,
он краснобайству выучит стократ.
Он, если разобраться в нем толково, -
прообраз господина Хлестакова,
его – точнее – нынешний собрат.

Ах, как он суетится на планерках –
цветистых, пустоватых и прогорклых,
по-менторски оплошности круша,
хоть все его благие назиданья
о сущности земного мирозданья
не стоят бережного гроша.

Он, этот грош, бренчит на дне кармана,
он жаждет алкогольного дурмана,
и, очумев от лозунгов сквозных,
летит братва, зело неприхотлива,
на поиски и зрелища, и пива,
под сень неоклемавшихся пивных.

Средь достопримечательностей здешних –
отдушина для праведных и грешных –
веселый ресторанчик «Ветерок».
В благословенном оном ресторане
витают меж оборванной герани
приятственный российский матерок.

Тут разговор то прям и безыскусен,
то сыплется затейливее бусин.
Тут пьют бадью лишь за один присест,
как бисер, сыплют чешую тарани,
плечом пивную очередь тараня,
все те, кто не работает, но ест.

Делец из ОРСа, свора суперменов –
миляги без кастетов и безменов,
заезжий чин, а с ним, потупив взор,
былую прыть устав таить под спудом
общительный районный прокурор...

Парад алле! Так вот она – эпоха,
неужто вправду данная от бога?
Ну, колорит... но то не для пера...
Откуда эта зябкая нервозность?
Ах да, подходит лермонтовский возраст –
тверёзая и ясная пора.

Чего ищут? А мне-то быть доколе
недвижному, как лодка на приколе?
Куда нас тянет нынешний буксир?
Враньем газетным чью-то прихоть холя,
зачем и я пою в оглохшем хоре,
в скрещении двух путей, как двух секир?

*

С какой мольбой гляжу в чужие лица
(похмельные – тут не на кого злиться),
неужто только в том и мой удел:
самих себя транжиря и тираня
в заплеванном убогом ресторане,
при деле слыть, и все же – не у дел?

А я-то сам чем краше Хлестакова:
расхристано живу и бестолково,
сам у себя в неведомом долгу.
Вещают вот, что я с пути сбиваюсь,
в компаниях сомнительных спиваюсь, -
все это бред, и в этом я не лгу...

Немногие, пожалуй, будут рады,
покличь их, бедолаг, на баррикады:
горим ведь, пропадаем ни за грош.
Кто позовет их из питейных недр –
не этот же 101-ый километр,
что высылками тихими хорош.

Он так пригож незыблемостью вечной
и круговой порукою беспечной,
обильем осовелой тишины.
Бедой он пахнет, словно карамелью,
и ни при чем тут мнимое похмелье:
не верите – спросите у жены...

И не откроем новых мы Америк,
Вдруг уяснив однажды без истерик:
мы вынынчили сами этот крах.
И пусть сегодня нас не ставят к стенке,
мы скомканы и сдавлены, как стельки
в безжалостных господских сапогах.

Но в праздники и мы роднее братьев:
как праведно раскинуты объятья
под новым первомайским кумачом.
И вот, в застолье словно пробки вбиты,
вмиг забываем склоки и обиды,
друг дружку подпираючи плечом.

Поймет ли кто: за все под этим небом,
всех зол касаясь оголенным нервом,
я золотом души своей плачу.
Лишь капелька усталого народа,
не в праздники – в любое время года
взаимопонимания хочу...

1972

*

Как в этой жизни все перемешалось –
замшелость слов, поступков обветшалость.
И вновь снуют раздумья чередой:
коль суждено в изменчивом начале
искать исхода стыдными ночами,
что ждет меня за дальнею чертой?

ПРИТЧА О ЗАМПОЛИТЕ

Ю.В. Гаврилину

Был майор как майор: и не молод,
и не стар для тяжелых погон,
часто бит и невзгодами молот,
как ведется у нас испокон.
Где ему до полковничьей знати
или оных сокрытых небес,
где в униженном орденом злате
то ли бег мельтешит, то ли бес...
Век предельно и прост, и жесток:
Всякий знай отведенный шесток.
Обходили майора в чинах,
для другого – заведомый крах,
но ему-то они на хрена –
не заслуженные ордена?..
Боль чужая – кому-то услада,
и – как дичью загон егеря –
зачастую не теми, кем надо,
набивают битком лагеря.
Перемолото сколь, исковеркано
равнодушными общими мерками;
за бесценок в остроги спроважено –
не поспешно ли списано заживо?..
Разбирайся, майор, подытоживай
злое месиво, злое крошево.
Где достать сокровенные силы
разглядеть сквозь вранье и гнилье:
ведь и в лагере – тоже Россия,
горемычное эхо её.

Проворованная, пропитая,
что ей совесть и гиблая честь,
отчего она все же такая?
Почему она все-таки есть?
Эх, майор...
Ни хвалою не сломан,
ни хулою сквалыг и чинуш,
ты не плетью – обыденным словом
добирался до сторбленных душ.
Из густого постылого страха,
поднималась, в поджилках слаба,
заскорузлая чья-то судьба.
Только здравому смыслу в угоду
из разряда расстрельных калек
на забытую богом свободу,
выпрямляясь, шагал – человек.
Не босяк, не зажавшийся трутень
(и за всякого – сердце болит?),
он не знает, как шаток и труден
шанс остаться собой, замполит.
И не видит он, лиха отведав,
все, что можно на свете, стерпя,
как порой из больших кабинетов
неотложка увозит тебя...
1976, 1981

Отвыкаем друг от друга, отвыкаем,
не испытываем горечи и муки.
Как легко мы и бездумно отмыкаем
непочатую кладовую разлуки.
Снова катится она, как пыльный обод –
все по кочкам, и наивна, и беспечна.
Вот и нами припасен расхожий довод:
разве что-нибудь в короткой жизни вечно?
А ведь думалось: поврозь нам и минуты
не прожить и на плаву не продержаться,
что взаимно наши радости и смуты
никогда не перестанут отражаться...
Слава богу, ни обиды, ни притворства,
да смогли бы мы иначе неужели?
Все кончается обыденно и просто:
поотвыкли, позабылись, почумели.
Слава богу, хоть ни в чем не упрекаем
прожитого - не для нас и эти муки.
От любви, как от ненастья, отвыкаем,
так чего ж тайком заламываем руки?..
1989

О ранних свадеб горестный обман,
ребяческой любви несовершенство...
Обещанное, где оно, блаженство, -
все до полушки за него отдам.
Вот наш уют – благочестив и тих,
он втридорога куплен на толкучке,
и вот – в придачу – ребус на двоих:
как дотянуть пристойней до получки...
Не оттого ль горюется порой:
неужто есть и вправду жизнь другая?
Варю супы. Орудую пилой.
И сына годовалого ругаю.
А худенькая девочка – жена
над высшей математикой колдует.
Она от этих формул чуть жива,
и зябко ей, и стынью в окна дует.
И надо, закатав бы рукава,
зашпаклевать, прорехи позаклеить.
Очаг любви (и тут жена права)
хоть чуточку, да надо бы лелеять...
Но разве станем зависть мы копить
(у них – хрусталь и чудо – гобелены).
А тут частенько не на что купить
букет тюльпанов для моей Елены.
Так и живем. А ежели всерьез,
то все при нас и все на прочном месте:
уж если и хохочется до слез
и плачется сквозь смех – пока что вместе...
1968

Да гори ты огнем голубым
все, что числилось благополучьем,
ведь сегодня под снегом падучим
я доволен исходом любым.
Принимаю – глумись, барабан,
рассыпайся раскатистой дробью:
словно молот стучит по гробам
за грехи, что окупятся кровью.
Не торгуясь плачу по счетам,
хоть сполна не осилить урока:
в преисподней зачтут, но и там
не сдержать мне отныне упрека.
Не по жизни иду – по ножу,
пересудом омытый, как тушью,
я с тоской и надеждой гляжу
равнодушью вослед, равнодушью.
Словно тень, притупилось оно,
Беспорочно в лицо мое глядя,
Утешает: «Уж так суждено,
ничего не поделаешь, дядя...»
И гремит барабан у ворот,
И о стенку колотится эхо.
Вот и пройден еще поворот –
может, самая тяжкая веха...
1971

Вроде и не за что сильно любить
волглые тучи да путанный стланик,
горький родник, что манит пригубить,
гиблые дали, в которых ты – странник.
Тут обо всем поразмыслить дадут –
разве ты не благодарен за это?
Кто угадает, куда заведут
вечные поиски вечного света...
Кто защитит на изломе веков
тех, чей удел, как дитя, бескорыстен?
Тлеют пеньки безымянных крестов,
словно обломки ненайденных истин.
Вот истончится житейская нить
мукой, что в нас от Бориса да Глеба:
стоит ли жизнь понапрасну гневить,
вдоволь отведав и хлеба и неба?..
1977

МОЙ РОТНЫЙ

Мой ротный – хват, каких не видел свет,
и сквернослов, ей – богу, небывалый.
Присловие «Семь бед – один ответ»
он оправдал пожизненной опалой.
За столько войн, на ротных-то харчах,
не нажил ни хором, ни капитала.
Погодки вот – в сиятельных чинах,
а он – в суконной ляжке капитана.
Но этот отдаленный гарнизон
(казарма, плац, понурый профиль ДОСа)
принять как есть ведь должен быть резон,
коль не дорос до лести и доноса...
Он водку пьет, как деревенский квас,
в обнимку с полоумною гитарой.
Но знаем мы: он не погонит нас
на пулемет бездумною отарой.
Он обожает ясность дел и слов:
и грязь, и кровь рисуя без обмана,
он учит нас, беспечных пацанов,
спасаться от зарина и замана.
Мой ротный крут, но свят его приказ,
какая сила заставляет нас
идти за ним развернутою цепью?
Когда над степью полыхает бой,
в архангела умея воплотиться,
он норовит нас заслонить собой,
и многое за то ему простится...
1966

САМИЗДАТ

Опять гонения в ходу –
переполох обедни стоит:
поникнут в лагерном аду
ниспровергатели устоев.
Воздаст им славу и почет
лихой писец от комсомола!..
Ах, как печет,
наперечет
изобличенная крамола.
Клейми, эпоха, самиздат –
дитя российского уродства,
блескучий кладезь первородства
не изолгавшихся баллад.
Их и вдогонку поминает
судья – оракул роковой.
И ничего не понимает
еще с иголки, конвой...
Пустеет суд, как бойкий рынок,
и сквозь слоистый говорок,
прозрачный, как рублевский инок,
поэт ныряет в воронок.
За ним, Иудой обозначен
(и перед властью – гонорист),
размост взгляд неслышным плачем
прерожденец юморист...
В России все подвластно крапу,
по уголовному этапу
спровадят в небыль самиздат.

Еще аукнется стократно
едва ль осознанный позор,
увековеченный печатно
неправой строчкой «Приговор...»
Но милицейским цепким фото
запечатлен и это миг:
на черной плахе эшафота –
букетик пламенных гвоздик...
1970

ТВАРДОВСКИЙ

От чего же он все-таки умер – от рака
или (если точнее) от тяжелого мрака,
что накинут, затянут, как выучный мешок,
под вельможный кивок и ехидный смешок?
От чего же иссяк он?
От сумрачной боли,
необъятной и дикой, как русское поле;
от пальбы изнурительных выюжных осад;
от глумливой гоньбы из окольных засад;
от непрошенной зависти и христопродавства
тех удельных князей,
чья шкодливая паства,
намекни лишь, дозвошь – и погнали: а ту.
Ах ты, время мое суеты и амбиций!..
Быть, наверное, надобно самоубийцей,
чтоб вот так непокорствуя черному дню,
в лобовую идти на тупую броню...
Искорежено, смято житейское русло –
смачный деготь хулы не отмыть до бела.
Над Парнасом российским язвительный Суслов
Распростер по-совиному злые крыла.
Фронтное разъято, повыбито племя –
в нелюбезной державе изгой они:
не уйти непокорным из вязкого плена
неуемной вражды и лихой толкотни.
... На Смоленщине милой
в замызганной чайной,
от тоски ли, от водки ли, вдребезги пьян,
при задумался Теркин о доле печальной,
отрешенно терзая охрипший баян.

Тошно видеть ему, как чудствуют рядом:
кто подметным листом,
кто словцом заказным.
Вновь на паперти века восторженным стадом
мы пророков своих исступленно казним.
знаю, верю: потом им воздается сторицей –
протрезвевшей страной и прозревшей столицей.
... Как же нынче-то вышло, убей – не пойму,
ты, Россия моя, задолжала ему?..
1971

НА ХОЛМЕ

Над высоким холмом, невесома, как лебедь,
реет церковь, а снизу – зияет тюрьма.
На холме, где расплескан березовый лепет,
как зачатые сестры – зарница и тьма.
Одинаково ждут, словно вещего знака,
избавленья на том и на этом дворе,
припадая к земле. Но толкуют двояко
непроглядные притчи о зле и добре.
Перепутаны звоны и справа, и слева –
колокольный пролет сквозь кабальный трезвон...
Это что за пришлец:
Как разохшее древо,
Из какой преисподней на холм вознесен?
В кирзачах и казенной линиялой телаге,
Уплатив все, что было ему по плечу,
поклонился он дню. И взбрело бедолаге
перед ликом господним затеплить свечу.
- Из крошечных ворот, сквозь лихую охрану,
мимо девок срамных у кабацких дверей,
что ведет тебя, схимник, к забытому храму?
- Заплутавшие поиски веры своей...
1980

Для облегчения участи
много ли надо порой:
талой апрельской певучести
под безымянной горой;
трепетной вспышки подснежника,
что до пришествия гроз
сквозь паутину валежника
вдруг лепестками пророс;
иль покаянного выкрика
из преисподней самой,
дабы житейская выкройка
стала отныне иной...
Но зазвонят ли проталины,
но возвестят ли они:
вот и скитальцам подарены
самые светлые дни?..
1988

Плантация

Лох белесый, желтая акация –
все и вся земная благодать.
Барщина, казенная плантация,
кто с тобой сумеет совладать...

Поливали, сеяли, мотыжили,
кланялись беде и лебеде,
и – гляди-ка – выдюжили, выжили
и в твоей корявой черноте.

Что осталось там, за суховеями,
за размытой горестной чертой?
Дивные посулы поразвеяны
гордой и счастливой нищетой.

Вкривь и вкось от века скособочены
долгие нахохленные дни.
Женщины с проселочной обочины –
из примет некрасовских они.

Но зато – навеки победители,
но зато – твердыню сберегли:
Тайные и явные вредители
в мерзлоте полярной полегли...

Может быть, и впрямь свое отплакали
и отгоревали наперед,
выводя цветистые каракули:
«Славою овеванный народ»..?

Флаг рябой над будкою полощется,
осеня вещие труды.
И опять согбенные полольщицы
не поднимут глаз от бороды.

Это ничего, что песни грустные,
а в казенной въедливой пыли
руки, не по-женски заскорузлые,
словно корни, в землю проросли.

Все еще аукнется, как чается,
благовестом солнечным маня...
Кто смекнет, о чем она печалится,
мама терпеливая моя...
1967

ОСЕНЬ 1961

Керосиновой лампы расплывчатый шар
в черном нимбе истошных полуночных бдений.
Что – вселенский потоп, что – московский помор –
разорительней надобно ждать потрясений.

Все, чем жили доныне, - на гибельный слом?
На задворки, в утиль по причине разора?..
Самодержец, обрамленный красным углом,
не отводит, не гасит орлиного взора:
«Что случилось с людьми в эту смутную новь?
Да они ли, на крыльях летя в штыковую,
подешевке промозглую дымную кровь
все обильнее лили – свою и чужую?..»

Все в России вершится в ночной темноте...
Приглушенно и зло матерятся саперы.
Лязг и грохот плывут, как круги на воде.
Так, наверное, в тюрьмах сбивают запоры.

Захлестнули удавкой пронзительный трос –
и бетонную глыбу спихнули за фалды.
Исполин. Небожитель. Кремлевский колосс.
И его добивают ломы и кувалды...

Не кручинься, отец...
Хоть вселенную сдвинь,
не изъять, не избыть, втихаря не похерить
пустота и смятьня. Так что ж – аминь?
Или незачем жить? Или не во что верить?

Впрочем, разве тебе полагается знать,
для чего на российских стезях термидоры?
Знай свое: чем насытить домашнюю рать,
сколько в хате муки да почем помидоры.

Вот сойдутся остатки братвы фронтовой
(то ли тризна в душе, то ли праздник греховный)
поглядеть, как махнув напоследок рукой,
без молебнов и гимнов уходит Верховный...

Из оплеванных дум и кручины ночной,
из казенных речей и плакатного шрифта,
из окольных путей и хвалы сволочной,
может, вправду уходит великая Кривда?

Ведь и ты уплатил ей немалый оброк,
не чинясь, не переча, не прячась от пули,
и не только себя на беспутье обрек –
все мы, батя, того же рассола хлебнули...

Это враз не понять ни сейчас, ни потом.
Покороблена жизнь, как звезда из фанеры.
Что – московский пожар, что – всемирный потоп,
вот и черная вечность попала в химеры.

Пьедесталы пусты, но не ищем потерь:
это страх размыкает корявые лапы.
Но себя разглядеть нам не хватит теперь
оловянного света задымленной лампы...
1968

СТАРЫЙ СНИМОК

Маме

Та фэзэушница на снимке
в каемочке берестяной
сама любые недоимки
заплатит полною ценой.

Все впереди... и поневоле
в тех ученических азах
еще ни робости, ни боли,
ни обреченности в глазах...

В годину маршей и парадов,
еще не ведая невзгод,
она единственный параграф
укладов тех не соблюдет.

И ей свой иск предъявит сходу,
един в поруке круговой,
за опозданье на работу
недобрый год сороковой.

Не уцелеть за эту жалость,
но и в житейской худобе
людскую пристальную малость
не всякий вытравил в себе...

Иначе – суд, иначе – нары,
и волчий выправлен билет,
хоть не сыскать чернее кары,
когда тебе пятнадцать лет.

Ей вечной числиться должницей
за ту незлую доброту:
быть белошвейкою и жницей,
как и писалось на роду;

влачить ей волоком за тачкой
долги несметные свои
и слыть почетною батрачкой
и у страны, и у семьи.

Любому дню, как пасхе, рада,
упрямо верует она,
что в нашей жизни так и надо,
поскольку жизнь всего одна.

Всегда как будто виновата,
хоть давних бед не опознать,
она торопится куда-то
и все боится опоздать...
1968

ЖМЫХ

С судьбой на неравных паях
(про то не лукавят лишь слухи),
отцы уцелели в боях,
а мы после них – в голодухе.

Мы все же остались в живых
на скудных хлебах с отрубями.
Но главное лакомство – жмых
какими оценишь рублями.

Промасленный серый комок
желанной подсолнечной сласти
нам вырасти, видно, помог
надежной опорой власти.

Вела нас отвага сама
В набеге сквозь утренник тусклый:
постигла всерьез пацанва
испытанный способ пластунский.

Там крепостью высится склад.
Репейник и цепок и колок.
Затарен немислимый клад
за пазухи драных футболок.

Там сторож, что нянчит в себе
неслыханной сечи осколки,
по нашей сквозной худобе
не в силах пальнуть из двухстволки.

А нас от недетских забот,
от страха и птичьего корма
в заветные дали зовет
басок пионерского горна...
1970

Как близко в российском пейзаже
теснятся трибуны и нары...
В словесной запутавшись пряже,
куда мы идем, коммунары?

Как тошно средь праздных и присных
(за всю-то судьбину – впервые)
угадывать дьявольский признак
в склоненной угодливо вые...

Из выселок, как из окопов,
пока не распластан на плахе,
затюканный эпос эзопов
так внятно глаголет о крахе.

Приписаны к вечным этапам,
привычны и стуже, и зною,
ютятся по трюмам и трапам
изгой. Изгой. Изгой.

Как будто в эпохе летящей
ни родины нету, ни флага...
И слепнут в поземке ледащей
немые пространства ГУЛАГа.

Тоски вековой не развеяв,
уносят остуду под сердцем
такой же безумный Рылеев,
такой же мятущийся Герцен.

С самими собою в разладе,
мостим, будто прорву острожью,
костями несметными гати —
и нету конца бездорожью...
1973

ПЯТЫЙ УГОЛ

Метят скопом всегда одного –
Похилее не телом, но духом:
«Пятый угол отныне – его,
загоняй-ка – земля ему пухом...»

Улюлюкает свора взახлеб,
снисходительно лыбятся урки
и шутя о младенческий лоб
с выкрутасами гасят окурки.

Несмышлениш, нездешний зверек,
по тебе ли те зряшные муки,
коль даешь нерушимый зарок
просто так не обидеть и мухи...

Поднимись-ка, воскресни, воспрянь,
не отдай себя лютой забаве,
хоть разок зацепи эту рвань,
кулаки кровоточат – зубами.

Мы еще отобьемся, пацан,
не скуля под незрячим оконцем.
Стисни зубы – и выбери сам
подходящее место под солнцем...
1976

Инне

Коченею от горьких известий,
от гудков отдаленных предместий,
от голодной и въедливой своры,
от наветов, слепящих, как фары.

За себя перестал я бояться:
будто мне никогда не подняться,
будто в доме моем беспризорном
запустеньем сквозит и разором.

Я-то знаю – все это неправда:
потеплеет и наша непрядва,
посветлеют апрельские вербы,
подобреют к нам талые ветры.

Да минует нас злая остуда,
ясноглазое горькое чудо.
Пропадая, шептать не устану:
«Я еще оклемаюсь – и встану...»
1979

ЖРЕБИЙ

При нынешней дороговизне
поступков, помыслов и слов
едва ли хватит целой жизни
на постижение основ —

минувших, нынешних, грядущих,
в багряном паводке долгов
безоговорочно ведущих
на перекладыны Голгоф.

Зачем казним себя и мучим?..
Такое, боже упаси,
вовек не снилось власть имущим
на обездоленной Руси...

Иль больше всех от века надо?
Иль жизнь не меряна для вас?
Когда с эпохой нету лада,
извольте — профиль и анфас.

Засим пожалуйста к ответу.
И вот столыпинский вагон
несется вскачь по белу свету
за перегонном перегон.

Все, как и есть в родимой прозе —
и нет суровой полотна.
Одних зароят при березе,
других уронят из окна.

А тот, готовый повиниться
во всем (но лишь бы – не в тюрьму),
скользит, не скрипнув половицей,
к жене – и кто судья ему?

Ведь под одним небесным сводом,
куда ни глянешь – там и тут,
по чьей-то крови, как по водам
святого озера, идут...
1980

И все-таки – выжить, спастись, уцелеть
в бедламе постылом, содоме постыдном,
где падшие души в бетонную клеть
подошвами вбиты и названы быдлом.

Там денно и нощно, всегда по прямой,
в затылок, припаянный к тени сутулой,
замочная скважина в злобе немой
нацелена, как пистолетное дуло...

И все-таки ждешь перемен и чудес,
в подол искупленья вцепившись по-волчьи,
все чаешь: удастся по воле небес
собрать с пепелища хоть жалкие клочья.

И вновь, по-сократовски хмуря чело,
терзаешься долгой загадкой земною:
ну ладно, спасешься – а ради чего?
Ну выживешь вдруг – а какую ценою?..
1981

ПЛАКАТ

Беспечный, надменный плакат,
от краха даруй мне отсрочку:
твоих неумных блокад
не выдюжить мне в одиночку.

В убогой своей мастерской,
чердачной, прилепленной к туче,
от неба к рутине людской
сползаю все дальше и круче.

Малюю бездумных ребят,
героев всамделишной сказки,
чей гордый восторженный взгляд
широкой потребен огласке.

Все реже о сущем скорбя
в торговле и бойкой и ходкой,
помянем однажды себя
ядреной андроповской водкой;

съедем свой привычный минтай
на фоне облупленных кровель...
Больнее, собрат мой, кидай
на стол мефистофельский профиль;

и бейся об угол башкой –
хмельною, беспутной, продажной,
спален в колготе городской
всеобщую жаждою бражной.

Мазнув рукавом по лицу,
спеши волховать до упаду,
наглядность придав близнецу –
кормилицу, поильцу, Плакату.

У самой последней черты
рисует – кому на потребу? –
то криком разверстые рты,
то длани, воздетые к небу...

А вдруг да сойдет прямиком
герой мой с плакатного наста,
литым громыхнет кулаком
и выдает громовое: «Беста!..»
1983

Да зря ли и тогда, в кручину адову,
мятежности научены не вдруг,
читали непечатную Ахматову
и Зощенко выманивали с рук?

Одними ущемленные законами,
отринули и патоку, и грязь,
своими чудотворными иконами
на все-то времена обзаведясь.

И молоты, и мечены, и гублены,
у вкрадчивых Пилатов на виду,
бродяги и отверженные люмпены,
ломались, но не шли на поводу.

Да зря ли и под тем крошечным маревом,
в родимых-то широтах, как в плену,
я участи полегче не вымаливал —
какая есть, такую и приму...
1983

Дивны дела твои, Господи:
столько терпения – впрок,
хоть отшатнулись от пропасти,
может, всего на вершок.
Вот мы и немощь почуяли –
сколько себя ни ломай...
Над городами и чумами
тот ли цветет первомай?
Сдобрен речами парадными
добрый молебен с трибун;
маршами и транспарантами
новый увенчан Перун.
Светлые дали обещаны:
близко – рукою подать.
Там зарубцуются трещины
и снизойдет благодать...
Нам бы очнуться от робости,
зла не копя про запас:
века кромешные лопасти
вряд ли минуют и нас.
Впрочем, сомненья напрасные
вновь отгорят, как смолье,
коль и у пропасти празднуем
долготерпенье свое...
1984

ИЗОШУТКА

Надобна энная сумма наличных:
вон у жены ни сапожек приличных,
не говоря уж про эти «шанель»...
Сгинуло в пыль образцовое время
для россиянина и для еврея:
бабам – фуфайка, а прочим – шинель.

Там с барахлом никаких проволочек:
к числам покраше был синий платочек –
ах как Шульженко воспела его...
ныне подобное – сущая драма:
чем же моя распрекрасная дама
плоше иных, да и я для чего?

Как ей отстать от пригожих товарок,
мнущих, как ниву, слоеный приварок
и за прилавком, и в деле ином...
Вот и впрягаюсь в родную упряжку,
сдвинув потуже ременную пряжку,
денно и ночью махая кайлом.

Снизу двадцатку да сверху тридцатку –
все по достоинству, все по достатку,
справили все же и мы сапоги.
Плачет любимая, жалобы пишет
(кто её в нашей пустыне услышит...):
зря гоношились и лезли в долги –
обе обувки-то – с левой ноги.

Как нас клянут промтоварные феи!..
В доме у нас, как в заправском музее,
уйма нелепиц – и два сапога,
что существуют без пользы на равных,
недостающих не ведая правых,

жаль вот - как будто мы издалека! –
шуткам привычным дивимся пока...
1986

Инне

Давно ли в канун воскресений;
где желтая осыпь хвои,
горчили брусникой осенней
печальные губы твои.

А взгляд твой, и ясен и кроток,
светал, золотее смолы,
вдали от счетов и сводок
и прочей земной кабалы.

И все-то меж нами связалось.
Сомкнулось. Совпало. Сошлось.
Как жаль, что всего не сказалось,
единственных слов не нашлось.

Ведь мнилось надломленной плоти:
минует нас будничный чад...
Как жаль, что всего не сказалось,
единственных слов не нашлось.

Беснуется хвойная вьюга.
И чьи заклинанья слышны:
«Прозрейте, ведь кроме друг друга
кому вы на свете нужны?..»
1988

Жизнь прожить на земле —
и земли наяву не увидеть.
Не какого-то — себя обделить, обездолить, обидеть.
То в колючем плену,
то в хмельном непроглядном тумане,
на виду, на миру пропадают мои россияне.
Не жнецы, не творцы,
не умельцы ремесел литейных,
подмывают торцы голубых заведений питейных.
Заходи — налетай, худоба и залетная стужа:
как прорех не латай,
ни хозяина в доме, ни мужа...
Неизбежный исход предсказать по каким гороскопам?
Вы куда, мужики,
в эту рань — в одиночку и скопом,
кто в колючем плену,
кто под шатким российским забором
уступив свою удаль одетым в бетон дискоболам?
Оскудела земля, будто тоже сгорела от водки.
Поотвыкла она от мужицкой надежной походки...
1989

СЛАВКИНЫ КОВРЫ

Славка конь рисует лебедей
на казенной меченой клеенке.
Надоел, как хлеб на лебеде,
терпкий дух приюта и поденки.
Но, поскольку славка хочет есть
чаще, чем столуют беспризорных,
на картинах сказочных не счесть
райских птиц у заводей озерных.

Вот ведь – рвань, затюканный пострел,
в чем душа-то – не на что и дунуть,
где такие краски подсмотрел,
как такое диво мог придумать?..
Спит детдом, к заветным снам пристав,
ошалев от хлебова и порки.
Огонек, на цыпочки привстав,
пляшет в занавешенной каптерке.

Сам завхоз, хозяин той поры
(ох и ловок Емельян Кирсаныч!)
Малевать цветистые ковры –
не от сглазу ль? – замыкает на ночь.
Бережет он Славкин божий дар,
Как свои фасонистые бурки...
Отбранился, отгалдит базар –
вот тебе и маковые булки.

А завхозу – денег да медку
да греховной – в четверти – водицы.
И плывут, как сны, по городку
Славкины невиданные птицы...
1966

НА СОПКАХ МАНЧЖУРИИ

Отцу

1

На сопках Манчжурии – алая мгла.
А мимо – как бездна – дорога легла.
На облаке дымном, завесившем ад,
повис указатель: «Ни шагу назад!..»
А в дальних окопах гремит патефон –
предсмертная явь иль пророческий сон?
Печальный, старинный кончается вальс,
но эта пластинка уже не для вас...
Японский стрелок и худой славянин,
удел подстерег вас, похоже, один.
Обоим далече до хаты родной –
свело в одночасье вас миной одной.
Один вы постигли сполна диамат.
Прострелена фляжка. И пуст автомат.
Изнанены оба – и оба в живот,
и кто до рассвета из вас доживет,
не ведают Будда и светлый Иисус –
у смерти в бою одинаковый вкус...
Войска откричали от бойни дневной.
А вы откричали «ура» и «банзай»:
хоть зубы в суглинок до боли вонзай,
зови ни зови, но рассеян и стар,
взлетает – и мимо плывет санитар.
И как ты дополз – лекарям невдомек.
Врага-то зачем на себе приволок?

2

На сопках Манчжурии дымная мгла
багряной росой на камни легла.
А в клубе солдатском задумчивый вальс,
печальный, старинный – как память о вас.
Но память не учит, - витать, - ни чему –
ныряет, блуждает подобно челну.
Срывая с плеча автомат на бегу
на том, затаенном, чужом берегу,
зачем мои ровесник, раскос и скуласт,
накроет огнем продырявленный наст?..
Не выдает судьба, высока как звезда,
по тридцать патронов на каждый АК –
по тридцать смертей, точно зерен на круг,
в багровую пашню, под маршальский плуг.
То с песней, а то и под яростный мат
все тот же зубрим по складам диамат.
А тихо-то как на родимой земле.
Лишь звездочки наши редеют во мгле...
1967

ДЕРЕВЕНСКИЙ ДУРАК

Пляши, пока дуда играет
иль слезы лей средь бела дня,
коль и в приют не запирает
немилосердная родня.
Ему ж ни солоно, ни горько –
пожар вокруг иль недород.
- Давай, Егорка, жарь, Егорка!..
- Потешь задумчивый народ!..
А он и рад – и в пляску снова,
да по стеклу, да босиком.
За то плеснут ему хмельного
иль приголубят тумакom.
Ни удивленья, ни обиды
(с него и спрос такой – дурак...),
лишь лужи вдребезги разбиты,
как окна, вставленные в мрак.
И божий свет понять стараясь
(«А вы – совсем не дурачки?»),
блаженный отрок или старец
глядит сквозь тяжкие зрачки?
О чем над копотью и прелью,
маня неведомо куда,
звенит нездешней свирестелью
та камышовая дуда?
Какой у жизни смысл пологий...
И равнодушна, и слепа,
всерьез юродствует толпа,
шутя печалится убогий...
1968

ИСХОД

Без оркестров и митингов
вот и тронулась вспять
переломанных винтиков
поредевшая рать.
Оглянусь – будто рядышком –
из тесовых ворот
чья-то странная бабушка,
вся в казенном, идет...

Вот ступила монашкой –
за свою ль? – городьбу.
Полевою ромашкою –
за свою ль? – городьбу.
Опростала из торбочки
Божьей Матери лик –
на обрывистой тропочке
не рассталась на миг.

«Может, нет тебе, Господи,
да ведь кто-то помог
той неправедной горести
сбыть проклятый замок...»
Занавески поправила,
расчехлила окно
посреди равноправия –
да какой ей оно?

Вновь лампадку приладила
в том же красном углу
и взглянула внимательно
в законную мглу...
1970

У ВОЕНКОМАТА

Нас-то провожали по-другому:
где тот смех и бойкий перепляс...

А у них — ни музыки, ни грому,
лишь печаль с тоской переплелась.
А у них «Рубины» да «Агдамы» -
все, чего не пили отродясь.
Девочки — их праведные дамы
отрешенно курят не таясь.
Адидасы, маечки и патлы
упразднит — как срежет — старшина.
«Ох, они у нас попляшут, падлы!..»
Мальчики, да это ведь — война...
Их сопровождающий на «взводе»,
боевой выравнивая вид,
при честном расдумчивом народе
как он нынче складно говорит.
Что ты знаешь, хрупкий лейтенантик,
про глухой обугленный Саланг,
теребя — как сам пунцовый — бантик
на гитаре пьяненьких салаг?
Погляди туда, за палисадник:
вон — с неладной той передовой —
одноногий списанный десантник
обдает тверезой синевой.
Он-то знает цену проводинам,
намотавшись по госпиталям,
исходя кручиной по родимым
ветхим непричесанным полям.

Дай им Бог – хоть так – вернуться к дому,
пощади их, близкая беда...

Нас-то провожали по-другому:
мы-то уходили не туда...
1984

БУДОЧНИК

И все-то по давней разверстке:
на фоне казенной известки
вот Будка, а в ней Мымрецов –
отныне частит он за чванство,
бесчинство и рукоприкладство
одетых в маренго стрельцов.

Они ж подневольные люди,
послушные барской причуде –
ретивее нету ребят.
Прикажут – и все выполнимо:
архангела ли, Серафима
истопчут, сгноят, истребят.

Но что-то, неясное вроде, -
к добру ли? – сместилось в природе:
не время тащить и стращать.
На ветхом общественном своде,
смущение сея в народе,
зачем-то чеканят: «Пущать!»

Подобное, помнится, было:
и прыти хватало, и пыла,
да сникли – какого рожна?
Любой-то порядочной власти
прискучат такие напасти,
а Будка – при всяких нужна...

Такая вот, брат, перспектива,
отсюда и служба ретива
(иначе – погоны, прощай):
у фарта на вечном приколе,
гадай вот, зачем и доколе
затеяно это «пущай»...
1985

Просеяна в дьявольском сите,
к забытым делам воротясь,
мы все-таки скажем: «Простите
за всю неминуемую грязь,
какую на грубых подошвах
постылым довеском несли...»

На тюле, на простеньких прошвах
узоры судеб проросли.
Пришли вот – и, праздник отринув,
Назад поглядеть норовим.
Там снег и доныне рубинов
под небом печальных равнин.
И в куцах всеобщего рая,
в домашней пугливой красе
припомним: у самого края
не все устояли, не все...
1978

А может быть – пора за дело,
без громогласного «даешь»?
Иль не для нас заря зардела
в пустых полях, где пала рожь?
Иль не с руки, в назме и глине,
Покосной кланяться траве,
не в яровом ничейном клине –
в чужой копаясь родове?
Ну что ж, сведи меня в участок –
вникать отдай под топоры:
участник или соучастник –
не только брежневской – поры.
Не стало от вражды черно бы:
как ни крути, - но не врагам –
еще аукнется Чернобыль,
еще припомнится Афган;
и нищета в убогих хатах,
и самогон из-под полы...
А мы все ищем виноватых,
а мы все точим топоры...
1987

БЕЖЕНЦЫ

Не паломники бегут –
от добра ли эти гонки.
Сквозь пожар погромный гуд
разрывает перепонки.

Частоколами штыков
с береженные – ночуют:
среди каменьев и песков
сколь веков они кочуют?

Не поймет всевышний сам,
поступаясь в оплошке многим,
как же это: мир – дворцам,
гибель – хижинам убогим...

Месяц души, как саман,
в наших землях достославных:
истребляют мусульман,
четвертуют православных.

Под копытами толпы
(что истории – утрати...),
точно ломкие снопы –
безоружные солдаты.

Из каких глухих тенёт,
обломив корявый я вор,
вновь дубину вознесет
доброте ученой варвор?

Ну – сомни её, изгадь –
с чем оставит злая смута?
Где же праведным искать
Пониманья и приюта?

Где куском не укорят?
Где на лад не пали цены?
Как пронзительно горят
наши каменные стены.

Что сулит нам этот жар –
и злодею, и герою,
коль не гасится пожар
даже детскою слезою?..
1989

СОЛОВЕЦКАЯ СИРЕНЬ

*Да будет мне позволено молчать –
какая есть свобода меньше этой?
Сенека, «Эдип».*

1

Сирень на Соловецких островах,
над хмурыми замшелыми камнями.
На вздыбленных кустах, как на кострах,
колышется задымленное пламя.
По-птичьи облетают лепестки
на водоросли бурого уреза,
на спекшиеся ржавые пески,
на остовы исклеванной трески
и паутину гнутого железа...
Гори подобьем вечного огня,
роня росы над покоем вечным,
храня светлынь и боли хороня,
разлитые по каменным скворечням.
Опальный край, беспамятства редут
укрыла монастырская ограда,
где, слава богу, к стенке не ведут
и, по приметам, все течет как надо.
И вроде бы живи и не тужи
среди неводов и сохнувших поленниц,
но сроки давности – не для души:
в ней, как рубцы, алеют рубежи,
в которых ты – все тот же поселенец.

2

Он прям и светел праведный ведун,
как слово, изреченное в начале.

О чем он проливает столько дум
и белыми, и черными ночами?
Светлея неулыбчивым лицом,
за чей помин пригубит ковшик браги,
как будто из морщинистой коряги
изваянный коненковским резцом?
Как долог путь, как смутен свет земной
и тяжек вздох — и нечего убавить.
И веснами, и горькою зимой
упрямо бродит сгорбленная Память.
Стоит она с протянутой рукой,
как нищенка у ветхого порога,
и шепчет: «Не Иосиф, так другой
увел бы вас от Истины и Бога.
Не были возвели его в Творцы,
не ваша ль вера Ирода вскормила,
когда забылись напрочь мудрецы,
гласившие: «Не сотвори кумира...»
не вам ли был угоден тот пустырь —
в умах и душах? Сретъ словесной пыли,
натешившись, и вы в ладоши били,
творя — свои — немеркнувшие были
ломая все, как этот монастырь.
И было так: в поруке круговой
какая вам мерещилась победа?
Кто виноват в предтече роковой?
С кого спросить? Ведь есть ответчик где-то...»

Затворник, книгочей и домосед
(спасенный чудом, поточнее скажем),
он снизойдет до горестных бесед
не всякий раз и, видимо, не с каждым.

Над Ветхим ли Заветом наклонясь,
над скудной ли прополотою грядкой,
он никнет вдруг, как будто отродясь
приучен жить с понурою оглядкой:
«Случись какая смута на Руси,
прогонят вдруг из дальних-то предместий
еретиков (спаси и пронеси),
а я уж тут, а я уже приместе...»
Кто остановит приводной ремень,
что гонит страх (при власти-то советской),
дробя в лузгу и глину, и кремь –
да только ли в державе соловецкой?..

3

А ведь и я спрошу себя: а ты бы
безропотно осилил тот же ад?
Прозрение – хотя бы и у дыбы, -
не всякому дающийся талант...

4

Кем был ты в жизни той –
под знаком людоедским,
до уровня небес вознесшейся звездой,
нуждой ли заклеимен, доносом ли соседским,
впечатанный вназем кирзовою пятой?
Щекочет ноздри дух сиены и лазури –
Доныне жив в тебе, быть может, Рафаэль.
Но уравнили всех: раздели и разули –
и в парокходный трюм, и м каменную щель.
Забудь про светотень, несбывшийся художник, -
потребен глазомер и в прочих мастерских...

Молитву ли творишь, вчера еще безбожник,
твердишь ли наизусть шекспиров горний стих?
Но благ не возвестят, хоть с веком ты на равных:
ровесники – чего, казалось бы, делить.
Но нет в твоих очах, как в пересоленных ранах,
Желания его хоть в чем-то обелить.
И снова, что ни день, то тягостная вежа,
подобная порой позорному столбу...
Как суетится жизнь, и недоросли века,
сирени наломав, плюют сквозь городьбу.
Печально поглядишь, не тратя назиданий:
галдит приезжий люд, экзотикой объят,
бредет беспечно вброд рекой чужих страданий –
и ты ведь был таким лишь 30 лет назад...
Достанет и для них с лихвой интриг и козней,
настанет и у них незнамый крестный ход.
А нынче – не замай: что может быть курьезней
минувших холодов у беломорских вод.
Куда они спешат по будням, как по взгорьям, -
от гулкой крутизны захватывает дух.
Сияет благодать над праздным их подворьем
и трижды не пропел в ночи для них петух...

5

А вот тебе пропел
горластый ранний кочет...
Зияющий пробел
восполнить кто захочет?
До горных-то высот –
как до Москвы – далече.
А давнее гнетет,
выламывает плечи.

Спасибо – уцелел,
и на чужом погосте
белы, как хрупкий мел,
твои не тлеют кости.
А ты строптив, дедок,
и власти супротивен,
наплел писаний впрок,
как новоявлен Пимен...
Уж пей свое питьё
в бродяжьей ипостаси,
ту горькую – её
приемлют и монаси.
В смиреньи вековом,
болотистом и топком
заденет ли кого
Послание к потомкам?
И нынче дни круты –
то мета, то засада.
Что – летопись беды,
коль нету адресата...

6

Что помнит он – ни приведи Господь,
что превзошел – врагу не пожелаю.
Ломали дух и распинали плоть –
и я все те же бури поминаю.
И наших дней когтисто волокно,
и тяготы никак не расточатся.
И все же, как в запретное окно,
в чужую боль мне надо достучаться.
- Входи... - И преисподняя опалит
прожорливыми жадными печами.
Былой завет забит, как древний скит:

«От многих знаний – многие печали...»
Но быть – себя не помня – невтерпеж.
Настырно протираясь сквозь коросту,
обращаешь веру – ей не ровня Ложь,
присвоившая нимбы не по росту...

7

Покуда белый свет не канул в тьму,
те дали будут видеться ему...

Ах, как линует лагерный оркестр,
бравурный марш наяривают трубы.
И, занесенный в гибельный реестр,
гонимый люд, единственный окрест,
итожит дни. Так складывают трупы
на хоз дворе заброшенном – рядком,
как чурбаки березовые в штабель.
И черный снег, подрубленный ледком,
завесит все, как магазинный штапель.
Былой нарком и белый офицер,
и протопоп, и подневольный лабух –
изъяты все и взяты на прицел,
в одних тисках, одних ежовых лапах.
Шинели проморожены до пят –
сколь тяжкий труд затеяла охрана:
любого – ослепят и оскопят,
не ведая сомнения и срама.
Откуда эта яростная страсть,
всеядная – людская ли – жестокость:
в кровавой пене руки полоскать,
и цепкие, и липкие по локоть?
Опричники из пламенных легенд,
что вписаны в учебники, как святцы,

муаровых навесившие лент,
героями привыкли называться.
Они и в том, безмалостном, начале,
в малиновых гарцуя галифе,
мою Россию в логове печали,
как девку на соседском сеновале,
ломали всласть и кровью умывали
и били озверев, по голове –
в какой все это значится графе?..
И гнали толпы сквозь огни живьем –
в какое Счастье был исход тот начат?
Вставал мессией Человек с ружьем,
он, соглядатай, и теперь маячит.
Сменил он без охоты ремесло,
Малюта приснопамятный Скуратов:
Из оных мест куда-нибудь в Саратов –
до надобы грядущей – занесло.
А может, он надеется не зря,
в собесах околачиваясь робко:
случится вновь ему командировка –
в любом загоне правят егеря,
когда идет в народе выбраковка...

8

То ли вьюги застенали,
то ли птицам голосится.
Ров, наполненный телами,
до сих пор зачем-то снится.
Кто из нас – не вечный данник
окаянной той траншеи:
Соловки или Майданик –
что воистину страшнее?

Тут и там – глухие вышки, -
Окровавленные вешки.
Эти яростные вспышки
Не придумать понарошке.
Дружно лают пулеметы –
все по дьявольской науке...
Прозревают донкихоты,
раскидав крестами руки...
Одинаковы повадки –
хоть и разнятся мундиры.
Одинаковы порядки –
непреклонны командиры.
И единственная треба,
исполняемая люто, -
у отеческого неба
отобрать побольше люда...

9

Я видел однажды парад Палачей –
пигмеев и гномов особого сорта,
в запеченых делах – цирковых силачей,
довольством набухших, как кровью аорта.
На кителе всякого – иконостас:
За слежку и выслугу песью острожью;
за кровь Гумилевых и взорванный Спас
(подумаешь, церковка – хлам у подножья);
за голод заволжских моих деревень
(я родом из тех же степей разоренных);
за то, что, папахи сломив набекрень,
разили мишени из приговоренных;
за то, что и мы с пионерских костров
неправую веру носили у сердца;
за то, что в России, чей омут багров,

привычен испившийся лик старостотерица;
за то, что и в нас, разъедаая нутро,
чернеет, гнездится холопская плесень,
на медь коршунья разменяв серебро
лихих соловьиных оплеванных песен; за то, что...
Как хищно мерцали сполохи погон
под алой звездой – десницей монаршей,
раскатом молебна летели вдогон
чугунные ядра пронзительных маршей.
Все это, по счастью, неладные сны:
мерещится нечисть – наслушался баек.

А если и вправду нагрянут из тьма
романтики туго закрученных гаек?..

10

Революция продолжается...
Оклемайся, честной народ:
ведь и нынче с тобой сражается
тот же самый сановный сброд.
И сегодня боятся ясности –
беспощадной, как злой фугас;
и сегодня хватает ярости:
«Кто не снами, тот против нас...»
Не твои ли, Россия, мытари
обездолены наяву:
за кордоны смутьянов вытури –
с кем сама-то пойдешь ко рву?
По Парижам и важным Лондонам
поразметаны, как листва:
каково им, чужбине отданным,
своего не избыть родства?
Каково по тайгам рассеенным,
по зашоренным точкам северным,

где лютует лесоповал,
со своею прибитой верою,
как с заоблачною химерою,
разминуться, коль час настал?
Ах, как тошно тюремной челяди,
по привычке дробящей челюсти,
запасаясь уменьем впредь,
непокорству в зрачки смотреть...
Чего ж безмолвна толпа на паперти,
что ж в глазах – немота да стынь:
у короткой похмельной памяти
не осталось поди святынь?
Но минует ли участь лютая,
не придет ли и наш черед?..
Продолжается революция –
нескончаемый крестный ход.
...Как сиреневые поплавки,
пораскиданы Соловки.

11

Туманы, как беленые холсты,
нанизаны на сумрачные шпили.
Пронизан голосами монастырь:
«Мы жили... мы надеялись... мы были...»
По чьим костям изломанным иду,
по чьим скорбям затоптанным ступаю
у вечности ничейной на виду –
по ломкому обрывистому краю?
Из-под камней и леденящих плит –
то плач, то стон, то горькая молитва
вдруг по гортани полоснут, как бритва, -
и я – навек – с чужою болью слит...

Товарищ мой, мне страшно и темно,
как будто там меня, а не кого-то
глумливое влекло веретено
в Святые сатанинские Ворота.
Как будто и меня прожгла сирень
туманного, как сон, архипелага...

12

А сирень-то пылает,
словно в пене кипит.
Холода ль забывает,
о земном ли скорбит?
И ломали её, норовя извести,
И сминали её, как ладанку, в горести.
Но в прозрачную ночь,
отлетевшую прочь,
дивным светом своим
хоть сумела помочь.
И плывут лепестки,
негасимые, за
кровяные пески,
словно чьи-то глаза.
И бессонно глядят
с ветровой стороны,
озарив валуны
монастырской стены.
Не понять до конца,
Средь какого же зла
сквозь людские сердца
та сирень проросла...

Туристы – эстеты, юристы
 и прочий бывалый народ,
 и мы – продувные горнисты
 газетно-плакатных свобод.
 Еще не вконец разувераясь
 во всем, что с трибун наплетут,
 смекай: за бунтарскую ересь
 и нынче немало дадут...
 Отчалит вот-вот «Буковина» -
 прогулочный наш теплоход,
 и жизни чужой боковина
 размоется щелочью вод.
 И сети тугих ламинарий
 опутают в нетях морских
 пучины далеких аварий
 и дольных печалей мирских;
 и берег, то хмурый, то млечный,
 споткнувшийся, рухнувший ниц...
 Забудется каторжник вечный,
 кормящий мятущихся птиц.
 Свое доживая в сторонке,
 рисует он для балосства
 на тощей сельповской картонке
 сиреневые острова.
 Ну что изменил он в природе,
 чего непокорством достиг
 (однажды помилован вроде),
 смешной и упрямый старик?..

14

Беспамятство – горькая кара
для дворника и для Икара,
кромешная гиблая яма
в тенетах глухого бурьяна.
Забвенье – слепая оплата
разлада и злого распада
не плоти – нетленного духа
и совести, коли потухла...
Как страшно с глазами пустыми
Брести по житейской пустыне,
не видя, не зная, не ведая
тебя, моя отчина светлая.
Тебя, моя воля пречистая,
на сходках не шибко речистая,
а в шабаши хмурая – все-таки
не зря мы из горечи сотканы...
Ты, память, почаще заглядывай,
смелей заморочки загадывай,
касясь, как кожей шагреновой,
пылающей веткой сиреновой...
1970, Соловки

ПОСЛАНИЕ В НИКУДА

Очнусь от суеты, а рядом – никого:
и слава Богу – так безлюдье обозначу...
Вот мутное окно –
в нем, как в немом кино,
локтями мельтеша, насилуют удачу.

Хватают под уздцы лихие молодцы,
не мешкают ничуть помельче и поплоче.
Но полноте – не нас скликаю бубенцы
и масленице той не наш почин положен.

О чем смеется друг у мутного окна?
И он – подобно мне измыкан да изранен.
Стезя у нас одна, слеза у нас одна,
да надобно ему – сегодня же в Израиль.

Еще дымит в рагу оставленный «бычок»
и длит тепло руки недопитая чашка.
И надо ль, как врагу, зрачком сверлить зрачком:
что выпало ему – удача иль промашка?

Одна на всех юдоль, на всех один бардак.
Иль слаще канитель за отчими буграми?
А тут привычно все, как лагерный барак,
где ловчие снуют с багровыми баграми...

Исчез товарищ мой, и жаль его до слез:
ведь ветви теребя на тамошней оливе,
в себе уймет ли свет есенинских берез
иль сердцу и без них не горько в Тель-Авиве?

И там надоедят ристалища витрин.
Разжившись – там полно – орленою смирновской,
по-русски станет пить, средь всяческих смотрин
шокируя своей осанкою тамбовской.

Не по карману мне классический обмен,
хоть варианты есть – ходы еще возможны.
Но бьет наотмашь хмель, как дьявольский безмен, -
вот пошлины мои и все мои таможни.

С голодною тоской и яростью в очах
я все еще шепчу: «Россия, помоги мне,
в лечебницах твоих покуда не зачах
и лжи не услышал в твоём державном гимне;
покуда не в земле, не в летошной золе
иль окаянных тех пределах соловецких...»

Не шлют посланий тем, кто растворен во мгле:
как много тут причин – поверхностных и веских.
Любезные мои, да всяческих вам благ
в уютной стороне – владычице и сводне.
Кому же падать ниц в отеческий овраг?
Кому же подыхать в родимой подворотне?
1974

НА ДНЕ

Николаю Соколову

Живем не так и делаем не то...
И в поисках неведомой свободы
скатиться норовим инкогнито
под некие приятственные своды.

От глаз досужих кто не убегал
в дремотный сплин сиреневых окраин.
Синюшный, как у пьяницы фингал,
фонарь у забегаловки надраен.

Вот здесь и пропадает всякий сброд –
по Сеньке шапка, ну и мы туда же –
на дно, хоть тины там невпроворот
и все в одной барахтаются саже.

Тут все равны в единственных правах.
И, стриженный зачем-то под нулевку,
по-свойски незнакомый вертопрах
на опохмелку выклянчит рублевку.

В том Лукоморье (вот ведь решето –
просеет всех и выметет, как пробки)
буфетчицу, шутя, разрешено
похлопать по тугой ничейной попке.

А ей по-бабьи всех заблудших жаль:
ведь тонет среди позерства и обмана
русская расхристанная шваль
на доньшке заветного стакана.

А мы-то кто? Глядимся в ту же тьму
обкомовский отпетый идеолог,
я – борзописец, не чета ему,
да с панталыку сбившийся нарколог.

Юродствуем иль попросту чудим,
бежим ли от себя, в скороговорке
вино глотая и синюшный дым
и тайных дум распахивая створки?

И эту чернь, и скифский этот мрак,
и стыдные – с самим собою – плутни
простит ли Бог? Но если что не так –
все спишется на тягостные будни...

Какая сила тянет нас ко рву,
где зябкий смех, вранье и матерщина,
пока еще не мнится наяву
невиданная прежде чертовщина?

Наутро нас – вчерашних – не узнать:
окончен бал – и мы иные вроде.
И всю неделю будем поминать
побывку на неведомой свободе...
1975

ГОРОД ГЛУПОВ

Город Глупов себе на уме
за кондовою спесью заборов:
увернись-ка от лиха в кайме.
Весь в пыли и всего с ноготок,
на парадах и важный и статный,
деревянный степной городок –
кособокий, убогий, заштатный.
Круглый год он в борениях весь,
в трудовом ну и прочем азарте:
как любая советская весь,
и на финише дюж, и на старте...
Для меня, как святой Назарет,
неизбывен – я из однолюбов.
Ресторация. Храм. Лазарет.
Вырезвитель. И вывеска – «Глупов».
Он, случается, рубит сплеча –
не избыл озорства и лукавства:
ну, кого-то побьют сгоряча,
ну, стрясется – ограблена касса...
Но зато, как в хорошем кино,
не грозит он крамолой и бунтом:
сам к себе притерпелся давно,
благоденствием бодрым опутан.
Ну, а в праздники – вынь да положь,
коль в законе старинная схема:
он, подвыпил, становится сплошь
всенародною комнатой смеха.
Пусть постится не реже иных,
но гуляет с изюминкой Глупов,
соплеменников кажет хмельных
из кустов, как из рваных тулупов.

Но, уста не скверня первачом,
на идейную пмокув окраску
несравненным святым куличем
Он не прочь разговиться на Пасху.
На виду он и весь – напоказ,
хоть поерничать любит в охотку,
и напрасно, прищуливши глаз,
участковый пружинит походку.
Ну, а посторонь – квелый умом
(поумней – не дозволит обычай),
как и встарь, из боярских хором
умиленный глядит городничий.
Всех приметит, и все его чтут:
оторвется от чарки да шахмат –
просияет: покуда он тут,
громы – молнии в темя не жажнут.
Он в довольстве до самых бровей:
не придумать вольготней затишка –
под ладонью его как трофей
распростерся плашмя городишко.

*

... Город Глупов себе на уме,
а иначе нельзя – доконают,
хоть в нужде, как в колючей тесьме, -
ничего, как-нибудь залатают.
Все-то взвесит верней, чем весы,
на глазок, словно жито на рынке,
и не прячет в смурные усы
тороватой российской хитринки...
1980

★

По кивку, по звонку, по гудку –
на своем неизменном плацдарме,
о родной худобе – ни гугу,
как в любой образцовой казарме.

ПАСЫНКИ

Когда зарница, как блесна,
сверкнет в густом житейском мраке,
«Не для меня придет весна...» -
поют вполголоса в бараке.
Поют, баюкая покой,
не чуя песенного дара,
и – как цыганка – под рукой
гортанна хриплая гитара.
Устав от мата и битья,
блуждают помыслами где-то –
нещадной книгой Бытия,
знать, предусмотрено и это...
В урочный час ударят в рельс –
и понесут грехи и шрамы,
и, как игра под интерес,
жизнь продолжается упрямо.
И вроде нечем дорожить –
забылись женщины и брашна,
зато все чаще страшно жить
и пропадать совсем не страшно.
Ведь не откроется сезам,
а в том кондовом распорядке
встречать привычны по слезам,
но провожать – по волчьей хватке.
Не потому ль в бездонье том,
где не для них денница брезжит,
сквозная песня, как потом,
гортани замершие режет?

Пусть по заслугам скорбный труд
и взглядов высверки косые,
куда ж те пасанки бредут
твоей обочиной, Россия?..
1981

ПЕСЕНКА ТАЁЖНИКА

Ах, романтика, романтика
под гитарный перезвон –
допотопная грамматика
наших сказочных времен.

На задворках у истории,
славу зряшную терпя,
мы не слишком много стоили,
век сквалыжный, для тебя...

Словно загнанные гонщики,
делим исполу долги –
за дырявые вагончики
и унылые балки.

В пекле соцсоревнования
не тревожь, не береги,
неучтенная авария –
сколь вас брезжит впереди...

Над кичливой нашей скверною,
выбив противоугон,
полыхающей цистерною
жизнь несется под уклон.

Шпалы, вздыбленные в грохоте.
Рельсы, скрученные в жгут.
...По соседству в пьяном хохоте
дармовых медалей ждут.

Налетели, словно вороги,
наградной кумач кроя,
все, кому лишь данью дороги
эти дальние края.

Бойких шлюх небрежно кутая
в браконьерские песцы,
что запомнят про Якутию
завиральные писцы?

Нам бы вовремя поссориться,
тот чужой, чиновный БАМ,
и спросить с тебя по совести –
да не все нам по зубам...

Эх, романтика, романтика
под гитарный перебор:
вам костров хотелось – нате-ка,
не очнетесь до сих пор.

Не поется, не читается,
нет нужды пускаться в пляс:
слишком много причитается
в этих пажитях и с нас...
1985

КОСТИ

Ничто не забыто, никто не забыт...

Живых поднять бы, а до них
все не доходят в спешке руки
в степи ли, где бурьян поник,
в лесной ли сгорбленной яруге.
случилось так, что недосуг
командам было похоронным
воздать положенное вдруг
убитым, но непокоренным.
Какие смерчи улеглись,
какие вести отмелькали...
А вот они не поднялись –
глядят густыми васильками.
Но у беспамятства в горстях
их скорбь в песок устала литься:
там Русь срединная – в костях,
а дальше – Западная Лица...
Отчизна, память не тупи –
Оборони сыновьи кости:
они, где нынче ни ступи,
зовут: «Хоть горсть землицы бросьте...»
Живым воздали мы сполна –
иным отпущено и с гаком.
Но тлеют кости по оврагам,
как наша вечная вина.
Когда же кончится война?...
1985

Они на цыпочках ходили
и услужить был всякий рад:
за то и почестей хватили
и расфуфыренных наград.

Всегда подтянуты и строги
и отутюжены дотла,
по-свойски лакомые крохи
гребли с хозяйского стола.

Дивясь стезе моей кургузой,
вослед качали головой,
когда с подвыпившею Музой
я брел на пару из пивной –

куда глаза глядят и дальше.
И хоть озноб похмельный бил,
но из фиала сытой фальши
я и глотка не пригубил...

И вот взлетевший однокашник,
тверезый праведник былой,
с чего бы вдруг, достав загашник,
зовет отметить в пивной?

И не поймет, натужно хныча
(видать, и впрямь – печаль черна):
ему потребна водка – нынче,
а мне нужна была – вчера...
1986

АНТИОПТИМИСТИЧЕСКОЕ

Глумимся над былыми идеалами –
над ветхими заветами бывалыми,
разлитыми по свиткам кумача:
по-русски вроде все, да не по-нашенски –
бодливо и блудливо по-торгашески,
и нету мочи внять без толмача.

И кем же эти бредни понаписаны,
добротню прошнурованы, нанизаны
на колья заполошных наших дней?
Ах как нам позабыть сегодня хочется
былые шарлатанские пророчества,
барахтаясь у памяти на дне.

Насквозь пробиты круговой порукою,
безгласною, безглазою, безухою,
поводырей меняя на ходу,
не мы ли позлащенными годами,
как собранными в складчину гардинами,
скрывали срамоту и наготу?

А чуть поодаль траками елозили,
сгребали дружно танки и бульдозеры
(но - чур меня!) душевный трепет – в хлам.
Коль сущее облевано, опошлено,
молчание – единственная пошлина
за вход свободный в фарисейский храм.

Но виделись нам дотами бетонными
девизы, что и нами обетованы,
но – рухнули. И, вовсе не смешон,
предстал не с кондачка на обозрение,
лукаво имитируя прозрение,
погодо́к мой – впервые нагишом.

И вот оно – тягучее возмездие –
сместились и размылись лжесозвездия,
и белые одежды – не про нас:
сыновними глазами любопытными
исклеваны и не по-детски пытаны –
да нет у нас ответов про запас.

Но как же быть с проклятыми вопросами,
Так схожими с ребристыми торосами
над крутизной крамольных сроду тем:
про ложные скрижали, что отринуты,
про бюсты, что опасно задвинуты
в чердачную спасительную тень?

А дальше – больше спросится про самое
заглавное – стыдливое – бесславное
с нас, выходцев из той полярной мглы:
не с нашего ль любезного согласия
в тьмутаракань влачила́сь наша Азия?
Как дальше жить?
И где же были мы?..
1986

Мчатся бесы рой за роем...

А.С. Пушкин

Все о прошлом да о прошлом,
как ни лажусь, как ни бьюсь,
дорости рассудком дошлым
до грядущего боюсь.

Слишком неопровержима
начерненная хула
и отжившего режима
и сегодняшнего зла.

Нам ли попусту злословить?
То отвратное зерно
неприятельства – оно ведь
мятежом озарено...

Не креста страшусь, не плахи –
той гражданской, что и нас
в гиблом сабельном замахе
бьет наотмашь и сейчас.

Не сыскать кровавей пьесы:
среди пальбы и среди огня
вьются бесы, скачут бесы
в пыльных шлемах сквозь меня.

Вновь вербуют зазывалы:
те – стращать, а те – прощать,
им горелые завалы
нет резона расчищать.

И обличьем неприметный,
Свой выцеливает срок
клятый мятый, но бессмертный
ворошиловский стрелок.

Позабудь поди о прошлом,
злыми мифами обросшем,
но о будущем – боюсь:
сквозь неправые процессы,
сквозь словесные завесы
неужели не пробьюсь?..
1989

ИЗ ТУПИКА...

Из тупика – и в тупики,
как будто просекою длинной,
мы возвращаемся с повинной
сквозь все капканы и пинки.
Мы возвращаемся к себе,
как никогда не возвращались:
не безоглядно ль мы вращались
в кривом житейском колесе?
Слепою верою лучась,
чего мы впрок не разглядели,
кляня все сущее подчас
за то, что в схватке уцелели?
Не нами выдуман пролог,
но нам в финале хмурить брови,
коль черный хлеб вражды промок
от голубой и прочей крови.
И это было на Руси:
сместились символы и знаки
и сквозь сомненья проросли
надежды призрачные злаки.
И, как раздумья ни тяни,
в свой выбор надобно взглядеться:
не переждать грозу в тени,
за городьбой – не отсидеться...
1987

Истошный морок январей
кипит на буйных перекрестках:
настало время главарей –
и неуступчивых и хлестких.
Изподтишка, из-за угла
В кого неробкий выстрел грянет?
Чья беспардонная хула
своим бесстыжим оком глянет
еще вчера – и гладь, и тишь,
и все новации – по норме.
А нынче разве удивишь.
Штурмовиками в униформе.
Неужто ненависть в цене
и захлестнут её буруны?
А вон эсэсовские руны
малюет отрок на стене.
Накую он-то ищет мзду
в той деловитости поспешной,
когда кровавую звезду
смывает свастикой кромешной?
Весь в рваной штопке старых ран
и не готов к такому бою,
с медалькой тусклой ветеран
отводит взгляд, размытый болью...
1988

РОССТАНЬ

Инне

Ах, расстань, расстань...
Сколько ни тяни
последние щемящие минуты,
не мы зажгли зеленые огни,
не нами обозначены маршруты...
А ей, не сироте и не вдове,
вдруг чудится – сиротский дух витает:
и нашей неутешной родове
чего-чего, а горечи хватает.
В прощанье то, как чернокнижный знак,
вписалось суеверьем ли, пером ли:
не женщину любимую в слезах –
я жизнь свою оставляю на перроне.
Мы виду никому не подадим
и чувства не унижим жалким плачем,
когда в глаза друг другу поглядим –
и ничего уж не переиначим...
Чем умалить разлучную напасть,
как одолеть её незванный натиск,
когда уйти – страшнее, чем попасть
на перегон ночной Уфа – Челябинск...
1989

НЕКРАСОВ

Горек хлеб, возделанный рабами...

Н.А. Некрасов

Знал ли он, как слово отзовется
век спустя... Поблажки – не проси:
правят пиром те, кому живется
весело – вольготно на Руси.

Все одно на Волге ли, на Каме,
под пятой сиятельных невежд
горек хлеб, возделанный рабами.
Скуден свет несбыточных надежд.

А взамен – и вымпелы, и флаги,
и оркестр наяривает туш.
Половодье песенной отваги.
Подземелья обнищавших душ.

Чей гипноз застыл на сельских лицах –
не сотрешь, не сбросишь, не продашь...
О каких событиях великих
Я веду никчемный репортаж?

Отчего зовуще и кричаще
жнет нужда и трезвых, и хмельных?
Отчего Некрасова все чаще
числю в современниках моих?

Подмастерье меж газетных асов,
как страшусь я всеу прозвенеть...
Кто посмеет нынче, как Некрасов,
все как есть сквозь шоры разглядеть.

Прелый ток. Руина. Ржавый трактор
на земле, что чудится вдовой,
углядит незримый мой редактор –
и падет в раздумья головой...
1969

Вот и порвана цепь – и повыпали звенья.
То ли кровь, то ли ржавчина рдеет едва.
В терпком запахе смол и осеннего тленья
не на мне ли замкнется моя родова?
В погребях прожитого – лишь квелые крохи:
ни засеять жнивья, ни наладить костра...
Где-то там, под колесами пьяной эпохи,
на асфальте ничком распростерта сестра.
Непутевый братишка – в бездонном запое
нянчит в тряских ладонях похмельную медь.
Ну а ты – в подневольном босяцком забое,
где не в радость и редкостный шанс уцелеть...
Но оборвана цепь. Ни потом, ни сегодня
в родовое гнездо не вернется никто.
Оскудевшая мама у лика Господня
Все никак не докличется: «Боже, за что?..»
1986

САЛЬЕРИ

Всему свой час...
Над пригоршнями луж
пробитый мглой мерцает лист древесный.
И вороны с настырностью кликуш
не крах сулят над проймою отвесной,
что жизнью именуется? И вот
грядет неодолимая расплата:
и я, ликуя, предавал собрата,
лелеял зависть, как червивый плод...
И сгинул он – гуляка и батрак
своей недосыгаемости млечной
на жалких дорогах у версты конечной:
зачем? куда? – ночной не выдаст мрак.
Как душно-то от всеблагих щедрот,
какими обладаю и поныне,
но сладкой славы нету и в помине –
кругом хула чернее сточных вод.
Ах, Моцарт, Моцарт...
Пусть исчезла плоть,
но дух-то твой витает осиянный –
божественный, хмельной и окаянный,
и никого взамен не дает Господь...
Мы всяко жили. В святость не играли.
Куражились. Паясничали. Врали.
Соперничали. Все – как у людей...
Зачем толпе так надобен злодей?
Чтоб высветить ничтожеством чужим
кумира – в назидание живым?
Дабы возвысить гения? Так он
и без того без меры вознесен.
В людской алчбе не разглядеть глубин...

Но слух («Сальери Моцарта сгубил»)
кому угоден был и почему?
Ах, Моцарт, Моцарт...
Я ли враг ему?
А если все – досужая молва,
навет нелепый, злые перипетия,
что ж, на колени встанут снова
передо мною лживые столетия?
История путей не знает вспять –
ей не навяжешь вмиг опроверженья.
Я – прах. Я – тлен. Меня легко распять
на жуткое перекладине забвенья.
Кто подтвердит, что было все не так,
как в сплетне той, взыскующей огласки;
что я (подчас и в непроглядной маске)
в интриге – князь, в злодействе – не мастак.
Какому – никакому, но – творцу
Тем паче вероломство не к лицу.
И не было в злосчастной той канве
ни лезвия, ни яда в рукаве...

...Как кошелек бродяги, пуст трактир
и голоса-то – словно отсырели.
Вновь клинописью дождевой пунктир
кропит окно: «Будь проклят ты, Сальери...»
Кем и за что? Недопито вино.
И нарушать безмолвье нет охоты:
уж на столе за все припасено –
дукаты, как рассыпанные ноты.
Что шепчут там, ехидствуя в углу,
те игроки, раскинувшие кости?
И ль чудится? Увы, но все мы – гости,
да все ль равны, сходя в густую мглу,

что в вечности бездонной разлита?
Всему свой срок – объятьям и проклятьям.
Как за лукавство дорого мы платим –
и не спасет могильная плита...
Ну вот – пора. Накинут мрачный плащ.
Хмельной ли плач, глухие ли рыдания
в дверях споткнулись – где же оправдания
искать впотьмах, коль всяк себе – палач?
Чей реквием, тщету на нет сводя,
выводит призрак смутный напоследок
скрипичными смычками черных веток
на зыбких струнах зябкого дождя?..
1984

В этот город
Я приеду, ночью мглистой.
Озоренной тихим всплеском фонарей,
на трамвае доберусь до Белоглинской –
неприметной снежной улочке твоей.
Удивишься, не поверишь:
явь ли, не быль?
Столько весен
в этой комнатке я не был.
Столько раз свою любовь я отрицал,
так, что дождь смывая с конвертов адреса.
Но зачем-то в этот дом меня поманит,
он-то старого, я знаю, не помянет,
он простит мне неоправданность обид –
о разлуке он по-доброму скорбит.
Да не смею, откровенно говоря,
прошагать сюда по-прежнему уверенно
по застенчивым тропинкам января.
Чтобы снова ты, - навек – в меня поверила.
Чтобы снова – у калитки ни души.
Только сомкнутые тени на снегу...
Да, люблю.
И сомневаться не спешу.
Не скрываю. Не умею. Не могу.

МАНЕКЕНЫ

висококая фантасмарогия

*Где мальчик, которым я был, -
во мне еще или ушел?*

П. Неруда

Знамение

Клянусь святым: в тот день я не был пьян
и черти не мерещились с устатку.
Редактору, чтоб выискать изъян,
понес я злополучную тетрадку.
Что было в ней – поведаю потом.
Как сквозь калейдоскоп галлюцинаций
вдруг разом рухнул неурочный гром
кремлевских продолжительных оаций.
От счастья и усердия тупа,
в ладоши смачно бухала толпа
сошедшему в витрину, как на сцену,
вальяжному, при звездах, Манекену.
А на торце присутственного зданья,
где Манекен был центром мирозданья,
где был плакат – зияла пустота
сквозь клочья обветшалоого холста.
Нам разницы давненько, кстати, нет,
кому рукоплескать – привычны сроду,
а тут сошел по воздуху портрет
для дивного явления народу...
По городам и весям размалеван
к престольным датам и в канун маёвок,
с апостолами ныне наравне,
он приустал светиться на стене.

Покинул свой насест и был таков,
но что в ничтожных буднях наших странно,
надумал осчастливить ходоков –
вон разомкнулась бравая охрана.
По голосу (один на всю округу)
признав в нем подмастерье Ильича,
нырнул я под отеческую руку –
поплакать у могучего плеча.
Я к звездному припал иконостасу:
- от всяких притеснений нету спасу,
как нету избавленья на Руси...
И, снизойдя, он вымолвил:
- Проси...
- Мне б вольную.
- Чего? А все ведь козни
и происки, похоже – ЦРУ
для насажденья паники и розни.
А впрочем, глянем – так ли все в миру...
И вот вошли – без справок и рентгенов
в чистилище собратьев – манекенов.

Охотный ряд гремел – шумел, как вече.
Служилый люд толкался у ворот:
и ближние, и те, кто издалече,
одной стезею связанный народ.
Все свояки, то бишь единоверцы,
звездой обогреты одной,
заветные распахивали дверцы
для прочих неприступной проходной.
Туда не смей ступить с гузном сермяжным:
мы все равны – но всем нельзя туда.
Там пир горой. Там веет духом бражным.
Там льют елей без всякого стыда.

Все те же полновесные куранты
окирест роняли заунывный звон.
Но пламенем вздымались транспаранты
и флейты ликовали в унисон.
Взирали благодушно изваянья
хмельных и снисходительных вождей,
как тасовали должности и званья:
плати-ка чистоганом – и владей.
Все торговали спьяну и спроста:
кто душу в непотребной этой лавке,
кто веру, как распятого Христа.
Не истины – лишь почестей и власти
искали тут – побольше и скорей! –
соратники одной невнятной масти,
одних кровей и призрачных корней.
Поместья, ордена и партбилеты –
и в розницу, и оптом – налетай!
Все – запросто: заветные приметы
и равенства, и братства не впотай.
Кому неймется стать лауреатом,
кому Звезда Героя по плечу,
не мешкай – и твоя планида рядом,
лишь позывные вымолви: «Плачу!»
Здесь вечный кайф дурманит, словно брага.
Чего тут нет! На то – торговый ряд.
- За что же вам, братва, такие блага?
- За верность идеалу, - говорят. –
По городам и поселеньям дальним
сыщи-ка неутешного поди:
по вашим золотым предначертаньям
живем и мы – иного нет пути...
Я пригляделся: все знакомо вроде,
все из одних житейских теорем.

Псалмы, что распеваются в народе:
«Кто был никем, тот ныне станет всем...»
кургузая прославленная кепка
на тамошней мозаике все та ж;
трибуны в ряд, сколоченные крепко.
Хоругви. Речи. Знамый антураж.
Земшарный клич над торжищем витает.
Содом. Неразбериха. Вавилон.
Чего-то здесь как будто не хватает...
Ах да – единством спаянных колонн.
А вот и впрямь с привольем нашим схоже:
заплот из вышек вздыблен, как редут;
но кто там ропщет, праведный мой Боже?
- Невольники на фабрику идут...
Сную ли я меж бредом, сном и явью
иль запредельный одолел гипноз?
В немой гортани, обожженной ярью, -
Ни крика, ни проклятья, ни угроз.
Под маршевые резвые бемоли,
сверяя с пятилетками шаги,
гадаешь в одночасье поневоле:
куда же завели нас большаки?
Иль вправду гуттаперчевые гены
в наследство нам бесславное даны,
под пристальным приглядом сатаны?
И в тутошних угодах – как в России,
и здесь не по карману благодать.
- Торгуешь чем? – попутчики спросили.
- Я не купец – мне нечего продать...
- Ох, голь – тоска российская, вот пропуск
в небесно-малахитовый спецрай.
- Мне б вольную. И отмените обыск,
а прочего – и дома через край...

ВМЕСТО ПРОТОКОЛА.

У подъезда главного ошмонали все-таки. Впрочем, я не сетую – на работе отроки. Знамо – не обучены политесам пажеским: действуют – орудуют по уставам нашенским.

Все карманы лапали да в котомке рыскали:

- Пасквиль самиздатовский далеко ли, близко ли? Заповедь заглавную помнить не мешало бы:

В вольной нашей вотчине слыханы ли жалобы?..

Я, похоже все-таки не туда попал: да на что мне, граждане, Особый Трибунал? Ну, нашел спасителей, ну, заступу выискал: вгонит в дрожь и ангела этакая вывеска... В кресла золоченые, словно в соты, втиснуты, граждане хорошие изрекают истины. Важные – вальяжные, блещут эполетами:

- Сколько же мороки нам с этими поэтами.

Чего за крепости? Чего за притеснение? Или перепутали летоисчисление?

Говорят участливо, не стращают карами:

- Вызывайте «скорую» прямо с санитарями. Шпарит несурязицу парень сгоряча: видно, помутнение – надобы врача. Над бы прислушаться и к такому доводу, да без околичностей, честно и по-доброму: силою нечистою если завербованы, изложите письменно – трибунал учтет...

И у них подглядчики въедливы, как бороны,

И у них деяния все наперечет. В этой Манекении в сыске – тоже гении. Лишь бы по-острожному впопыхах не выбрили: на харчи казенные сдать – одно мгновение... Не у нас ли, гаврики, выучку-то стибрили?

Все давно обсказано. Все давно описано. В узелки завязано да в «Дела» нанизано...

ИСПОВЕДЬ ВСУЕ

Тону, и все-таки плыву,
судьбы себе не выбирая:
я отродясь живу в плену
коммунистического рая.
Горластей мартовских ручьев.
То хмур с похмелья, то насмешлив,
мне обещал его Хрущев,
теперь сулит товарищ Брежнев.
Под знойным шелестом знамен,
гордясь кургузым правом птичьим,
и я ликую, вдохновен
вождем зело косноязычным.
Крутятся в газетном колесе,
слова, как выжимки, прессую:
и одобряю, как и все,
и с массой вместе – голосую.
Не все равно ли – за кого:
непогрешимы рулевые,
хоть, как в замедленном кино,
все длятся циклы нулевые...
Не наши ль деды и отцы
склоняют благостно седины,
когда летит во все концы:
«Народ и партия – едины?..»
Не разглядеть с наскока гнусь,
но на проглядном повороте
остановлюсь и оглянусь –
и отрезвею разом вроде.
И, пересилив немоту,
Разбередив сомнений ранку,
благословлю науку ту
фасад увидеть сквозь изнанку;

когда смекну (послушно-тих),
чего ни разу не бывало:
и я у рупоров глухих –
лишь неразумный подпевала...

- Я не хочу и не могу
горланить «За» везде и всюду...
- Ты перед обществом в долгу,
ты задолжал стране и люду...
- Да где он – люд? Изломан сплошь
и растворен в миражных далях,
не он ли нынешнюю ложь
штыком чеканил на скрижалях?
Невыносим словесный чад –
я не умею жить по сказке:
ведь и во мне еще звучат
те выстрелы в Новочеркасске...

Вот, не распознанный никем,
всегда застегнутый по форме,
мой шеф – лукавый манекен –
благонадежной верен норме.
И, непреклонный как краском,
в ликбезе оном сведущ очень,
роняет менторским баском
шлепки учительских пощечин:
- Я мог бы многое понять
и напечатать даже рад бы,
но завиральная тетрадь –
как далека она от правды.
Ты глянь туда, - и, словно шоры,
с окна лазоревые шторы
передо мной отвел рывком.

А за окном гудел райком.
Там, словно спицы в колесе,
гонцы, лакеи и статисты,
и маяки, и рекордисты
сновали, взмыленные все.
В канун родного первомая,
как безотказные клише,
мелькали рапорты, смывая
словесной дымкой неглиже
родного нищенского быта,
халтурных помыслов и дел...
Но – чу! Укромное – забыто,
есть и у зоркости предел...
- Вглядишься получше: вот – народ...
(Но в бесконечном этом гоне
я увидал, наоборот,
спесивых ряженных в загоне).
- А ведь бывали времена
(жаль, ты родился поздновато),
когда за эти письма
одна сполна вменялась плата...
В твои ли малые лета
томиться в каменной заначке:
ведь это, братец, клевета
антисоветские замашки...
Упрек, намек – и то урок:
дивись и логике, и силе.
Но не пошло, по счастью, впрок
все то, чему меня учили...
Забрал я клятый свой блокнот.
Порывы! – будь они неладны:
как просто – жить наоборот,
как откровения накладны.

Я понимаю: грош цена
благонамеренным порывам:
куда ни ткнусь – кругом стена,
куда ни кинусь – над обрывом.
Махнуть бы мне на все рукой:
да кто, юдоль моя, ответствуй,
не зная участи другой,
над падью выстоит отвесной?
Во сне воплю иль наяву:
- Эй, православные, очнитесь,
ведь я по совести живу
и никакой не очернитель...
Тебе, редактор, невдомек,
хоть ловко ты мякину квашишь:
души неробкий огонек
истощным рыком не погасишь...

Не расположенный к речам,
я все сказал, собравшись с духом.
...Читаю Блока по ночам
расстригам и кабацким шлюхам.
(Они честнее во сто крат
тебя, отпрянувший сегодня,
предусмотрительный собрат,
юлой шмыгнувший в подворотню.
Они попросят лишь вина
да, может быть, немножко денег
и посочувствуют сполна:
и вправду тяжек понедельник...)
Как жизнерадостный плакат,
в любом лукавишь репортаже,
где, что ни слово – напрокат,
как объявление о продаже

всего, что совести моей
покуда дорого и свято;
всего, что напрочь, до корней
еще не раз истопчет стадо...
Обмоем волчий мой билет
начальству зычному в угоду
в кандалном звоне наших бед
хоть так отпразднуем свободу.
Аминь! Безвыходность сама
Утешит нас и в этой кройке.
камнями падают слова:
«Я пригвожден к трактирной стойке...»

ВМЕСТО ПРОТОКОЛА

Кончил исповедаться, изрекла комиссия (ишь в затылках вдумчиво перьями скребут):

- Налицо наглядное тут инакомыслие – западной враждебности подлый атрибут. Где все это видано? Где все это слыхано? Чей же ты, голубчик, и каких кровей? Сколько вас, лазутчиков, в стан наш понапихано, ставленник юаровский, натовский еврей?

Говорю:

- По матушке, заодно по батюшке россиянин истинный я со всех сторон.

Только не поверили, процедили:

- Ладушки... - и ногами топали, и кричали: - Вон!

Главный поначалу-то вроде и обрадовал:

- дать ему исправиться...

Был такой момент. Но другие вскинулись:

- Лучше бы уматывал – стопроцентный вражина, явный диссидент...

В ОДНОМ БАРАКЕ

До свиданья, краснобровый клевер
робкой среднерусской полосы.
Выдали путевку мне на Север,
чет и нечет бросив на весы.
Там меня и въедливый редактор
не достанет – руки коротки.
Ждет меня там атомный реактор,
смен полярных бойкие гудки.
А душа покойна и довольна:
рядом – ни иуды, ни врага.
Слава Богу, еду добровольно,
впрочем, пояснили мне, - пока...
Под шальным созвездьем Водолея,
в жизни рад любому шалашу,
я еще такое одолею,
я еще такое напишу...

Да ни черта не напишу я –
и тут проходу не дадут:
и одесную, и ошую –
вранья ощеренный редут.
Ну, лезь, карабкайся на стенку,
нутро и тело кровеня,
всем тем изломанным на сменку,
каких хватало до меня.
И – где они? Одни в запое
нашли укромный уголок,
другие в лагерном забое
стране рубают уголек.

И в радость сохлому огарку
кормить в широтах ледяных
с руки конвойную овчарку –
ту, что добрее часовых.
Они в бараке – ты в бараке,
хоть над тобой конвоя нет:
одни житейские овраги,
один нормированный свет...
Взметнешься утром по сигналу
да примешь (надобно чуток)
сороградусной пиалу –
и выгребайся в свой куток.
Тулись смелей на верхотуру
то на карачках, то бегом
стальную ладить арматуру,
валить из кузова бетон.
Хватает черной и угарной
Хэбэшной воли и тебе
на Всесоюзной да ударной
коммунистической тропе.
Там хмурый голос бригадирский
с утра напомнит, в стельку пьян:
- Досрочно, можно и с припиской,
любой ценою выдай план!..
Не обернется ли он адом,
припомнив весь похмельный гнет,
раскрепощенный мирный атом –
возьмет однажды да рванет...
Но снова рай себе рисуем
и, пряча горькие глаза,
все так же оптом голосуем,
бездумно тянем руки «За».
Там, на пути к большим победам,

мы лечь должны и в грязь, и в хлам,
как доводилось нашим дедам,
затем отцам, сегодня – нам.
Все одолеем и осилим,
чтоб те, идущие вослед
к просторам солнечным и синим,
счастливый выбрали билет.
И все же в мороси барачной
не все поденкою невзрачной
под ватерпас усечено.
Не потому ль доныне медлю,
надежду призрачную для
продеть спасительную петлю
в высокой притолоке дня...

В ВАГОНЕ

*И невозможное возможно,
дорога дальняя легка...*

А. Блок

Вот и все – после завтра отъезд.
Породнился вот с тундрой – и точка.
И давно мне знакомы окрест
всякий куст и болотная кочка.
Знать, пришелся и я ко двору
в работающей неробкой бригаде:
коль окажишься не по нутру –
не таят ни в душе, ни во взгляде.
Унялись проводины мои –
мне отбыть полагается в отпуск:
по причине гудим, на свои –
вот какой приключается опус.
... А вагон, как баркас, - ходуном
на волне развеселой мотает:
кто на полке притих кверху дном,
а кому-то никак не хватает.
Сумасбродной державы оплот,
тороватый в застолье толковом,
дембиль празднует Северный флот,
схороводившись с флотом торговым.
На приветной вагонной скамье –
лесорубы, бичи и снабженцы.
Все в единой дорожной семье –
односумы и единовѣрцы.
А девицы-то щурят глаза,
предъявив непорочные лица –
те, кто в 24 часа

выдворялись силком из столицы...
На исходе недоброго дня,
«Незнакомкою» теща попутных,
я очнулся: пошто же меня
одолели два кителя смутных?
- Ваш билет...
- Ах, билет, погоди,
убери-ка фонарик, служивый,
и давай к провидице кати. –
Я-то думал, они – за поживой.
Где же мой злополучный билет?
- Проводница!
- Пропал ненароком...
- Ну, а был он? – держу я ответ,
ревизорским простреленный оком.
- Ты не шибко яришь, ревизор,
приглядишь-ка, судьбу четвертую:
не шпион, не разбойник, ни вор,
вот держи-ка, браток, четвертную...
- Что же ты, проводница, молчишь,
неумеха, алкашка, тетеря?..
Глухо клацнув в морозную тишь,
распахнулись вагонные двери.
Ну какой же мне в морок ночной
под присмотром насмешливых взоров?
До чего же народ сволочной –
не встречал я таких ревизоров...
Окружила бессонный вокзал
черных елок немая аллея.
Сквозь морозное марево в зал
загляделась упряжка оленья.
Чьи визгливо звенят кирзачи?

И, минуя саамские нарты,
точно фары в промозглой ночи,
милицейские реют кокарды.
Мне, наверно, тут рады до слез:
- Кто таков?..
А в дальнейшем экспромте
было все наяву и всерьез:
- Руки за спину. Ну-ка – пройдемте...

В РАЙОТДЕЛЕ

*Вам весело – и вы резвитесь,
гневить фортуна – зряшний труд:
по вас тоскует вытрезвитель,
где вас, как липку, обдерут...
(Из песенки попутчика).*

Били злобно, били дробно,
зябко екала душа.
Правый ус крутил недобро
захмелевший старшина.
Все в зачет моим напастям –
кулаком ли, сапогом.
И стекала по запястьям
злая киноварь с погон.
Наторев лупить без ссадин
в меру навыков и сил,
сам майор товарищ Псятин
два приема применил.
Там в делах таких толковы.
И, хотя едва дышу,
наготове протоколы:
- Подпиши!..
- Не под-пи-шу...
- И не то подпишешь, сволочь...
А в кафе наискосок
хрипло пел Владим Семеныч
все про «Черный воронок».
Притомились ли – не знаю,
иль молитвы помогли:
лишь по краешку по краю
дыбы той проволокли.

Но, привязан пуповиной
к тем заделям так и сяк,
сам явился – да с повинной –
неразысканный босяк.
Тот, кого и не искали –
враз уличили потом:
у хмельной торговой крали
учинил он злой погром.
И обнять его, как брата,
был прилюдно я готов:
ведь теперь меня обратно
пустят без обиняков.
И – пустили. В понедельник.
Хоть в кармане у меня
нет ни паспорт, ни денег:
Что ж – на то и западня.
Не судил я слишком строго, -
смех сквозь слезы – пополам:
и у них – одна морока,
и у них, вестимо, план...
Мне (хоть трижды он неладен –
душу в кровь исковырял)
сам майор товарищ Псятин
на прощанье козырял...

ЭЛЬДОРАДО

*Какая смесь одежд и лиц,
племен, наречий, состояний...*

В. Гиляровский

Когда кричат «спасите наши души»,
и знобко бьет скитальческая дрожь,
на узенькой каемке шаткой суши,
случается, спасителя найдешь.
Безвыходность любому зову рада.
И вот (в забытом прошлом – москвичи)
меня сопровождали в эльдорадо
пронырливые кольские бичи.
Хозяйка безымянной межрайбазы
наемников с охотою брала:
ломились от провизии лабазы,
и треба в неприкаянных была.
Беспаспортные, беглые, смурные
под ейною приютною рукой –
изрядно спозаранку и хмельные,
и сытые – сыщи-ка рай такой.
Моральный кодекс выпрямлен донельзя:
пахать и – по возможности – не красть.
А в остальном начальнице доверься,
пока при ней – пображничаешь всласть.
Был беспорочный лик её фарфоров,
певунья, сладострастней соловьих,
не ведала преград и семафоров
в хотениях бесчисленных своих.
Затейница, каких на свете мало,
без ложного притворства нанимала
борзую стаю бойких кобелей,
от прошлого отмытых побелей.

Не липли к ней замызганные слухи:
блюли, оберегали благодать
бичи, лишь за бутылку борматухи
готовые возвысить и продать...
Мне плутни эти, в общем-то, до фени.
Но коль сошелся клином белый свет,
то надобно в сиропной этой пене
хотя бы подкалымить на билет.
Я благодарен случаю и богу,
что сдал себя без промаха в наем:
не надо выходить и на дорогу
с увесистым разбойным кистинем.
Смекнула мигом ушлая хозяйка:
куда мне без копейки по зиме?
И – снизошла. А там поди узнай-ка,
какая блажь у павы на уме.

... Мне выдали покрепче рукавицы,
фуфайку в алебастровой пыли.
Конторские при том отроковицы
в гроссбух меня негласный занесли.
В густом замесе заполярной стужи
отнекиваться мне ли от ярма?..
Окорока. Балык. Говяжьи туши.
Икра. Лосось. Анчоусы. Хурма.
Гружу. Сгружаю. Мерю. Сортирую.
И, коли есть смекалистая прыть,
отнюдь не возбраняется втихую
налево приглянувшееся сбыть.
Тот кавардак разгрузки и погрузки
с частушечным цветистым матерком
охальничал и ерничал по-русски,
кружился и крутился кувырком.

Делилась наша славная когорта
по признакам неведомо каким
на пахарей особенного сорта
и заваль, непроглядную как дым.
Доверенные, чуточку спесивы,
мудреным причащенные азам,
ликеры, балыки и апельсины
развозят по заветным адресам.
(В те бардачки, где званые банкеты
товарищи по партии дают,
где здравниц позлащенные багеты
в необобщенный вписаны уют.
У матушки – России не убудет –
она и велика, и широка:
покуда у весла такие люди,
не обмелеет общая река...
А впрочем, государственное дело
не нашего короткого ума:
душа бродяжья если и радела,
лишь о тепле – и то не задарма).
...Другие по укромным магазинам
везли иной диковенный товар,
где только простофилям да разиням
не светит узаконенный навар...
Вот работнул в охотку я сегодня.
Фуфайку прочь – и к кассе прямиком.
Глазам не верю: в ведомости – сотня,
а на руки – пятерка с медяком.
Пожаловали прочим и помене:
вино – от пуза, импортный табак,
на закусь ресторанные пельмени –
ужель такие блага да за так?
Тем паче бормотуха – сверх награды,

хлебай ее, родимую, ведром.
Хо-зя-юш-ка! Беспаспортные рады
ей лобызать за это афедрон.
Да перед ней любые мостовые
повылижут – какие ни на есть,
коль сам Главчин, не то что постовые,
за полквартала отдает ей честь...

В ПРОТАЛИНЕ ОКОННОЙ

Что может быть пронзительней и горше
бездомья – не у боженьки в гостях...
Но глянулся я тамошней шоферше,
изломанной в петлистых скоростях.
Бессонные ночевки на вокзале
Под бдительным прицелом фонаря –
их побоку. И как не повязали
еще разок ночные егеря?
Иль поняли, какие муки – трюки
по плотку обмотали, как бинты:
не подняли карающие руки
служивые, а мы-то их – «менты».
...Сугроб – до звезд. Визгливая калитка.
В окно, как в прорубь, вставлена луна.
- Как величать-то?
- Можно просто Ритка.
- Совсем одна?
- С зачатия одна...
В той крохотной крайней хибарке
не мельтеши и душу не двои:
поверил я нечаянной товарке
невзгоды подорожные свои.
И намертво причалил к раскладушке,
сдвигая снов тяжелые вьюки:
и – нипочем занозистые стружки
всей законной въедливой вьюги.
За столько дней без дрожи и без риска
забыться в незатейливом тепле...
Наутро – тишь. Короткая записка:
«Вернусь нескоро. Завтрак на столе.»

Как возникает светлое доверье
(ни страха, ни огляда втихаря),
не отсекаясь запертою дверью
на вымерших задворках января?
Что нас свело – святая жалостьбадя
иль нам одним понятная беда?
Куда б кривая вывела, ослабь я
живучести тугие повода?
Иль к одному мы вдруг прильнули краю,
по маковку хлебнувшие всего:
каким чутьем, по совести, не знаю,
но Ритка углядела своего.
Откуда в злую ряску Зазеркалья
могло ее – такую – занести,
где всякая продажная каналья –
в неслыханной и трепетной чести?
Где в сладостных тенетах дефицита,
лишь будь поизворотливей чуток,
пусть все нутро – чернее антрацита,
зато набит червонцами чулок.
А у неё – ни цацек, ни прикида,
И все же в обездоленности всей,
ее не гложет черная обида
и зависть пробивная не по ней.
Среди деляг, добытчиков и выжиг
как уцелела, сумраком дыша,
одетая в смешной потертый пыжик,
тщетою не замутненная душа?..
Прощаюсь с прошлогодними снегами,
одетыми на сопки набекрень.
И с постамента мерзлыми рогами
вдогон кивает гипсовый олень.

То нежностью, то кротостью, то ярью,
как ни противься, сцепленный навек,
гнездится средь ночного Заполярья
вокзальный неуживчивый ковчег.
И, растворен в густой безликой массе,
не вытравив бродяжьего тавра,
я все таки собрался восвояси,
хоть и бегу, быть может, от добра.
Попытка жить по совести – как пытка,
наивна и мучительна порой...
Минувший день – захлопнут, как калитка,
грядущий – словно ветка под пилой.
Скрежешут неотступчивые зубья,
кромсают, сатанея и ярься,
не косности припудренные струпья –
живую душу осыпают в грязь.
Поддаться и в наперсники податься,
наперстками хлебая благодать –
за то, что наловчились пресмыкаться
и напрочь отучились бунтовать?
Куда ж ты, жизнь – промозглая кибитка,
по рытвинам – будыльям вразнобой?
Не суетись: ведь есть еще попытка –
щемящая мучительная пытка
и в балагане быть самим собой...
Все тяготы мирские мне отмерьте
и всех неволь раскиньте невода,
но верую: на шаткой этой тверди
не всякий из живущих – сволота.
Изгой. Шантрапа. Простолюдины.
Нам веру эту надобно хранить...
Как жаль, но жизнь – сплошные проводины.
Прощальный взмах. Оборванная нить.

Как тягостны безмолвные прощанья,
где обещанья – будто завещанья
среди обретений, страха и скорбей.
Пора надежд – она не имеет сраму:
- Вернешься, так хотя бы телеграмму
коротенькую все-таки отбей...
Скупа, как новогодняя открытка,
судьба впотьмах засветит огонек:
кого он в крайний час спасает, Ритка,
в проталине оконной одинок?..

СВАЛКА

Похоже что-то с головой
вчера явился домовой
похоже амба господа похоже крышка
подобным фактом пренебречь
уже невмочь о том ли речь
но ты припевки под баян отпел парнишка
как из завесы дымовой
возник спроста ли домовой
босой истерзанный в одной исподней бязи
гадай вот к худу иль к добру
на огонек забрел к шабру
и у кого из нас сегодня сдвиг по фазе
ни в бурелом ни в злую тишь
меня ничем не удивишь
мы притерпелись ко всему нутром и кожей
к чему поведай без вранья
фантаσμαгория сия
мне даже в святки не мерещилось похожей
ты говорит усек точь-в-точь
вся жизнь как святочная ночь
коль свора ряженных ьесчинствует в округе
намедни вот попал в дурдом
ну и звериниц ну содом
кому ни лень зазря выламывают руки
там сульфазин – аминазин
возносят в космос из теснин
и частокола непотребной яви нашей
да вот смекнул и наконец
что я не вражеский гонец
и за ворота на пинках прогнали взащей

вгляделся я откуда чей
но вроде не из стукачей
хватает всяких у охранных заведений
в приютной нашей стороне
не миновать видать и мне
всех сортировочно-погромных эпидемий
хоть песни пой хоть матом крой
ни бог ни царь и ни герой
не угадают наших промыслов дальнейших
коль цепким гребнем там и тут
кого ни попадя метут
вон погляди-ка добрались уже до леших
еще поведал гость о том
что покидая оный дом
он у obsługi разузнал с немалым риском
властями вроде дан зарок
строптивых прятать под замок
и я кочую по заклтым этим спискам

Нам не в диковинку забор
решетка смрад позор запор
на всем печать с родимым гербом
сам удивляюсь до сих пор
жителей прелестей набор
до дна и мною не исчерпан
и хоть подчас вгоняют в страх
узлы смиренных рубаш
приноровились помаленьку
ко всем напастям что для нас
немилосердный век припас
швыряя теменем о стенку
в бетонном ребусе оград
и мне душевно будет рад

приятель в чине эскулапа
пахан лечебницы одной
не то смурной не то блатной
но у него повсюду лапа
на фене мудрых латинян
несуществующий изъян
он клеит намертво любому
от пьяной скуки матерясь
казенный выпишет матрас
и позабудь тропинку к дому
и вот не петря в том ни зги
вправлять заблудшему мозги
манером там особым могут
уж лучше посох и сума
не дай мне бог сойти с ума

Похоже все идет к тому
залечат нас по одному
кому погост кому палата
где жутко горе от ума
и где в стакане сулема
по мне желанная услада
и хоть меня ты обезглавь
не распознаю сон ли явь
с потешным бредом вперемешку
рассудок режут как пилой
и воротившись из пивной
главлекать пестует усмешку
виват любезный эскулап
отныне я пигмей и раб
неимоверных обстоятельств
изобретай твори дерзай
веревки вей глумись терзай

иных не помня обязательств
мы снизу доверху рабы
не выйти нам из городьбы
и не сойти с паскудной сцены
не мни избранником себя
мы все стена и сипя
лишь ваньки-встаньки манекены
итог земного бытия
да на каком же свете я
в какое втиснут измеренье
прискорбней нету завирух
коль вышибают дух и слух
и укорачивают зренье
больничный собран узелок
сума для нишенских дорог
тюремный сидор все на выбор
случись какая маета
все обретет свои места
намедни был а нынче выбыл
а может нас и нет давно
да угадать нем не дано
какие рытвины и кочки
сбивает наш упрямый дух
что в одночасье не потух
отстав от бренной оболочки
мне обо всем порассуждать
позволит тамошняя рать
в дубленных кипенных халатах
вот только плакать не дают
за это здесь любовно бьют
на ломе дьявольском распятых
и впрямь неладно с головой
щеглом ли пой подранком вой

в людской от глаз сокрытой свалке
ах как тут истина проста
под сенью красного креста
что светится на катафалке

ДА КТО ЖЕ ТЫ?..

...И ты, в итоге загнан в угол,
забыв про то, что сказка – ложь,
среди заводных умильных кукол
в одной процессии идешь.
Раскаты алых демонстраций
лавиной катятся вослед,
и всяк возносит – рад стараться! –
иконной выделки портрет.
Но отзвонят свое куранты –
и, кинув в пыльный грузовик
гирлянды, флаги, транспоранты,
все обретет первичный лик.
И – в россыпь (примагнитит кто там?):
к застолью. Тостам. Пирогам.
Нелепым слухам. Анекдотам,
что примелькались и врагам.
Устав от хромки и трехрядки
Словоохотливых гостей,
На посошок плеснешь остатки
Для утоления страстей.
И вот заветное подполье
твое до самого утра:
и – начинается раздолье,
и – продолжается игра.
Там шторы – светомаскировка
в безмолвье терпком, как нарзан.
Замки. Цепочки. Ну, сноровка –
как у заправских партизан...

Ну, что ты там кропаешь сдуру
(не настучала бы стена),
Дрожа за собственную шкуру,
Которой сроду – грош цена?
Но онемел звонок у входа,
и в зыбком олове свечей
сладка сторожкая свобода
никем не испугнутых ночей.
И хоть вовек не оклематься
от вязкой лжи невдалеке,
упрямый норов прокламацкий
сквозит в нервической строке.
Наутро – выбрит и наглажен,
спешит, с толпой равновелик,
из хмурых улиц, как из скважин,
благонадежный твой двойник.
Так кто же ты?..

И СОЛЬ УТРАТ...

Звезда, мерцающая скупой,
зияет в храме нежилом.
Пустырь. Овраг. Церковный купол –
как опрокинутый шелом.
Пробитый дротиками злобы,
кайлом космических эпох,
низринут – и бессильно Слово,
напрасен зов и тщетен вздох.
Как все бессмысленно и просто...
Руина. Щебень. Перегной.
Куда бездумное безродство
бредет с протянутой рукой?
И не зовет никто обратно,
и дальше некуда брести,
и гаснут солнечные пятна
в пустой обманутой горсти...
Мы от себя – все дальше, дальше,
и спотыкаясь, и скользя,
и в мутном мареве бывальщин
окликнуть давнего нельзя.
Какая боль... Но даром разве
меж кратких вольниц и неволь
на всякой ссадине и язве
мерцает праздничная соль?..

ЭПИСТОЛА ОТЦУ

Жизнь мимолетная – странный подарок,
мигом назад отберут...
Нам эта боль с тобою на двоих –
одна как плащ-палатка из брезента.
Фронтовиков, ровесников твоих,
в живых осталось только три процента.
Все подсчитал угадливый статист...
И пусть всему – свои весы и меры,
вновь наградной, тебя догнавший лист,
напомнит о созвездьях из фанеры,
что выцвели в забывчивых степях...
Мальчишки. Несмышлениши. Подранки.
Куда же вы, в обмотках да лаптях,
с одним штыком – на вздыбленные танки?
Из маскхалатов, как из-за гардин,
вослед взирали на везувий адов
с иголки одеты в габардин
герои заградительных отрядов...
Один из них поблизости живет –
лихой делец из местного гортопа.
Он всяких награбастал позолот,
не выходя ни разу из окопа.
Он не стыдась в президиумы прет
в священный День святой солдатской боли
и по шпаргалке – как по нотам – врет,
как о своей – о вашей, батя, доле.
Ни из одной вы молоты муки –
его щадила огненная глыба.
За то, что не подашь ему руки,
сто крат тебе особое спасибо.

Где был он, тот раскормленный конвой,
когда вас жгла поземочная выбель?
О если б не Россия за спиной –
кого бы загоняли на погибель?..
Какая блажь в медальном серебре
у зависти, что вавилонов старше?
Иное время нынче на дворе?
Иные песни? И другие марши?
Мы все равны в единственных правах,
но отчего комок горячий в горле?
Не вашу ль славу, взятую в боях,
размыкали, присвоили, затерли?
И с потрохами отдана внаем
причуде барской, шитой славословьем,
самих себя все чаще предаем
притворством, равнодушием, безмолвьем.
Не ведая заветных средин,
святое расплескав в газетном блюде,
да что ж мы так униженно твердим
на всех ветрах: «Мы маленькие люди?..»
В расхристанном безропотном строю,
на лозунги вертлявые в надеже,
мы Отчину забитую свою
пропели и прохлопали в ладоши.
А пролетарский наш локомотив
на всех парах замешкавшихся давит.
Наивен вздох: «Эх, был бы Ленин жив»...
От давки той и Ленин не избавит.
Едва – едва кровавая страда
отхлынула, замкнула подземелья,
все по гудку забывшая страна
таращит веки с тяжелого похмелья...

ВМЕСТО ПРОТОКОЛА

Учел Особый трибунал все «про» и «контра»: упрям и дерзок невтерпеж – хоть бей по роже. Одно из двух:

Свихнутый или контра, что в наши славные деньки – одно и то же. Коль вникнуть в жалобы его-то сущий Каин:

Сплошные каверзы – одна другой нелепей... Поскольку должен кто-то быть и неприкаян, то отчего бы не ему – ключий жребий? Грехов опасных мы за ним пока не знаем, но разбираться – недосуг и много чести. На всякий случай подытожим: невменяем. Вот справка. Подписи. Печати – все на месте.

А впредь надумает бузить – утишим с ходу: исправим ломом – словеса уже излишни. Да по этапу, в глухомань, туда, где сроду не снятся яблони в цвету и алы вишни. По лесосекам погниет да смрадным штольням – глядишь, иное заплетет под меткой мушкой. Пусть выход чудится ему ушком игольным в палатах каменных глухих со спецкормушкой... Постскриптум. Аптека. Улица. Фонарь. Околыш красный. Как и встарь. Цыганкой дальняя нагадана поездка. В ночи, что звездами сорит, не перемены ли сулит почтовым ящиком дареная повестка?..

НАПОСЛЕДОК

Нелепый год кончается знаменьем.
И в новые вживаясь миражи,
мы многое, как водится, заменим
у призрачной двоящейся межи.
Названья улиц. Вывески. Фасоны.
фасады обернем в сусальный грим.
И, может статься, каторжные зоны
кликухой благозвучною почтим.
Как ни играй бравурными словами,
как ни юли в закормленной тщете,
подходим мы, товарище славяне,
к своей трагикомической черте...
Проществую престольным городищем,
из гиблой одиссеи воротясь:
надумал бы какой-нибудь Радищев
объять строкою нынешнюю грязь.
Неужто все незыблемо и вечно
и тверже первородного кремня?
Та нищенка, бездомна и увечна,
у бровки лучезарного Кремля?
Забитый некто, стиснутый охраной,
наручники, прикрытые плащом?
Спецособняк с лепниною охряной,
амурным занавешенный плющом?
И я – изгой, отверженный, бродяга,
усмешливый неверящий Фома?..
Под заревом немеркнущего стяга
куражится История сама.
Все на своих заблеваных подмостках –
в заглавной роли или без ролей:
и клоуны на злочных перекрестках,

и сумрачные тени патрулей;
и на торце присутственного зданья
бровастый лик – един на весь объем,
прилюдно посредине мирозданья
обкапанный сметливым воробьем;
и помыслы, невнятны и округлы,
как в нищенском картузе медяки;
и вдоль витрин улыбчивые куклы –
удачливые наши двойники.
О как я им завидую порою,
одическим экстазом оглушен...
Все – как и встарь. В столице – пир горою.
А я в места иные приглашен...
1972

ОСЫПАЕТ ЛИСТВУ КАЛЕНДАРЬ

*Светлой памяти
Майи Румянцевой*

Не снега ли
упали меж сосен?
Не беду ль
обронили тишком?
Погляди:
уж тридцатая осень
мне сигналит
прощальным флажком.

По- хозяйски
незванная гостья
входит в дом,
что не прибран и пуст,
сыплет числа,
как горькие остья,
на лиловый малиновый куст.

Ну а там,
где кончаются грядки,
где, скудея, желтеет ботва,
всё куда-то спешит без оглядки
не моя ль кочевая братва?

Дух артельный
сведёт в одночасье:
перед совестью жгучей светлы,
полотняной скатёркой согласья
мы застелем сегодня столы.

...Допит спирт.
Откудахтали рюмки.
Проливная печаль солома.
Как патроны
в тяжёлом подсумке,
холодеют литые слова.

Не юля,
напрямую,
навылет
(надо б бережней, что ли...
но как?)
Кто мне горечь студёную выльет,
Кроме вас, золотых бедолаг?

Этот праведный суд принимая,
тем ли жив
среди линиялых полей?
Ты скажи мне
по совести, Майя,
рубани – ка сплеча, Алексей...
Не уймётся сердечная смута,
хоть коленями оземь ударь.
Уж не судная ль
брезжит минута?
Не ленись, загляни в календарь.

Из очей, как усталая просишь,
уж не вешняя ль хлынет капель?
Глянь:
считает тверёзая осень
поределую нашу артель.

По – го – ди – те!
Сквозь дымную наледь
ваши души
спешу разглядеть...
Уж не мне ль
Начинает сигналить
Оркестровая зябкая медь?

Ни жене не доверю, ни другу
(только сам:
что моё – моё!),
подчинясь невесёлому кругу,
выпить досуха это питьё.

Пусть оплот мой последний
не занят.
Но какая во всём нагота!..
Осень, осень,
вовсю партизанят
в огороде твои холода.

Ну а там,
где кончаются грядки,
вековснная вянет ботва,
всё куда-то летят без оглядки
запоздалые наши слова:

«Проездной до последней пирушки
выдай, осень, сполна,
не мытарь...»
Вот и всё.
В недопитые кружки
осыпает листву календарь.

РЕМЕСЛО

К. Заграничному

Гаснут снега
на подворье зимы,
кружев искусней.
Столько столетий
парные дымы
реют над кузней.

Вот они —
плавно и тихо текут,
дальше и выше.
Издавна чёрен
и тяжек мой труд,
сколь и возвышен.

Денно и ночью
чиню инвентарь,
лажу долота...
Хлынет ли
в смутную душу, как встарь,
грёз позолота?

В копоти лоб
и в ожогах рука
возле горенья.
Мастер,
не знаю я смысла пока
рукотворенья.

Тщусь я
неведома сколько ночей,
тайно, без спросу,
спелых
предутренних зорь горячей
выковать розу.

В дерзкой затес
неумолим
окает молот.
Я ли не славен
уменьем моим?
Я ли не молод?

Мне ли не ведом
особый талант,
миг не послушен?..
Утлой бессонницей
угольный кант
тоньше и уже.

Вновь одолела
постылая сонь,
звона не слышно.
Мастер,
лукаво глядит
сквозь огонь:
— Снова не вышло?

Зри...
И, пружиня легко и светло,
Стебель завьётся.
Вот лепестки
воедино свело —
тонко не рвется.

Миг –
и бутоны венчает уже
хрупкая завязь...
И ненароком
гнездилась в душе
грешная зависть:

в стылой кайме
набежавшего дня
(не зля курьёза)
на кумачёвой скатерке огня –
дымная роза.

Разом
раздумья отрину со лба:
это ль – забава?...
Зря надо мною
смеялась судьба,
глупая баба.

Кажет она
неприглядный свой вид,
зла и нахальна...
Колокол, что ли,
и предзимью гудит
иль наковальня?

Строго глядят
на меня мастера,
зовы их строги:
вот и экзамен
держат мне пора –
выпали сроки.

– Ну, опровергни
среди маяты,
злое поверье:
столько столетий минуло,
а ты –
всё подмастерье?

Иль не обрёл
в окаянной глуши
ты в одночасье
дивного сплава
огня и души,
их соучастья?

Прежде чем кануть
однажды ко дну
(кто без износу?...),
в жизни мгновенной
хотя бы одну
выковать розу...

ПЕРЕПУТЬЯ

1

До свиданья, Казанский вокзал?
Вот и спирт
на прощание допили...
Я в судьбу,
словно шпоры, вонзал
не твои ли точёные шпили?
Не твои ль проливные огни,
осеняя литые валторны,
мне сулили погожие дни,
что на диво светлы и просторны?
Не меня ль подстрекали:
спеши
угадать в уплывающем звуке
недосказанный ропот души,
неосознанный трепет разлуки?
Мне покуда
неведома грусть —
я ещё молодой и чубатый.
За плечами
единственный груз —
это век впереди непочатый.
Не с того ли невнятных забот
далеки мелководные донья?..
Под колёсами —
вьюги вразлёт,
словно гиблая стая воронья.
Вот и злой поворот обогнём,
осеняя, как будто свечами,
заметённым вокзальным огнём
невесёлое наше венчанье.

То ли жажда иссякла вконец,
то ли чаша пуста круговая:
что же ты не готовишь колец,
кочевая моя, роковая?
Белый ветер
сметёт скорлупу
всех сомнений –
и это осилим...
И секут,
и линуют судьбу
полосатые вёрсты России...

2

В этой сутолоке грешной,
никому тут не родня,
всем понятен
гость не здешний,
отовсюду виден я.

Проглядевший,
как минули,
будто поводок в степи,
медоносные июли,
золотые сентябри.

А в утеху мне
котомка,
пара ходких кирзачей...
Не горюй, подружка Томка,
ты ничья, и я ничей.

На руках твоих наколки
мне поведают о чём?
Пересуды, кривотолки –
всё нам, Томка, нипочём.

Не со зла судачат люди:
знать, кому-то
сквозь вранье
в нашей горестной остуде
да почудится своё.

С чем порой не разминуться,
не отринуть, изловчась...
В три погибели согнуться
мудрено ль в недобрый час?

Пусть на теле
шрамов рваных,
мет пронзительных не счесть,
я с судьбой своей –
на равных,
по-мужицки, как уж есть.

Но под сердце
стынь не ляжет,
хоть, случалось, бедовал,
и меня земная тяжесть
с ног валила наповал.

От очей моих не прячась,
била коротко – держись!
Но под солнцем
прочно значась,
понимаю: это – жизнь...

Так уж вышло
(Что за диво),
думы попусту не рань.
... Пачка «Примы».
Кружка пива.
Золочёная тарань.

Горяча макушка лета.
И желанные до поры
станционного буфета
небогатые дары.

Вдоль перрона
вянут пихты,
вьётся хвойная гульба.
Эти пихты...
Но без них-то
не слагается судьба.

Были вьюги,
были ветры
ста ненастных голосов
и шальные кубометры,
в штабель сваленных лесов.

Я ль не выстоял,
печали
вырубая топором?..
Через час перрон отчалит,
будто вздыбленный паром.

Это за дальнею межою,
глаз моих не веселя,
не покажется чужою
эта скудная земля.

Вряд ли помнить перестану
благодарно, как и встарь,
этот пыльный полустанок,
этих пикт сквозную хмарь,

Что, как вышки в карауле,
невзначай уберегли
медоносные июли,
проливные сентябри...

3

За четверо суток домчатся
сквозь жизнь,
повернувшую вспять,
туда, где мои домочадцы
глазами светлеют опять.

Не витая в думах обмана,
очнусь у ворот наконец...
Замрёт поседевшая мама,
вздохнёт постаревший отец.

Но повести этой истоки,
увы, не вмещаются в строки.
Пора обозначить итоги
и вехи разметить пора:
пусты златоносные драги,
ржавеет, как лемех в овраге,
хмельна без задиристой браги
печаль, невесомой пера.

Порою понять невозможно,
что праведно в мире,
что ложно.
Не стоит об этом истошно
из злой подворотни кричать.
Ведь суть да останется сутью:
земные твои перепутья
хрупки, как горелые прутья.
Не время ль по новой начать?

Судьба моя, жалкая лгуня,
в зените твоём – полнолуние.
Какие гнездятся раздумья
в твоём проливном сентябре?
В измятом копытами поле
ни слова – о собственной доле,
чужие безмолвные доли,
как ток, замыкая в себе.

Постылые сбросив постромки,
прильни к полинялой котомке...
чужая душа – не потёмки –
очнётся, обид не тоя.
Толпятся забытые сроки
на ветхом неровном пороге:
пусть разум поможет, не боги,
вернуться на круги своя...

... Усталость листвою осыплет
в бессонный полуночный зал.
А рядом, как прежде, незыблем,
вознёсся Казанский вокзал.

Тут жизни моей середина.
Снега, что вчера зацвели,
распутья мои воедино
на площади белой свели.

Не время их кратному сбору:
в людском торопливом лесу
к вокзалу,
как будто к собору,
немое прощанье несу...

Глядела женщина,
в огонь глядела.
Он хохотал,
он клокотал над степью...
Куда в тот миг
её душа летела,
небес касаясь оголённой тенью?
Лаская волосы его льняные,
его сговорчивые глядя длани,
она ль не видела
миры иные?
Она ль не ведала
иные дали?
Как будто отзвуки кочевий давних,
как будто отблески веков сгоревших,
минувших радостей
и бедствий тайных
в её глазах перемешались грешных.
С каких времён
в ней зрела злая мамда
(от ледников?
От сотворенья мира?) –
у ног растелятся огонь однажды
рабом послушным,
вот и нет кумира...
Вплывала темень
скорлупою смутной,
смыкая взгляды на исходе ночи.
Стекал огонь из-под ладони смуглой
и билея оземь
всё светлей и звонче.

Стихал,
и снова возникал из пепла,
голодной ярости копя исчадь.
А рядом женщина
безмолвно пела
глазами тихими
о скором счастье.
Светало.
Близилась всему развязка.
Роняя блики,
догорала сказка,
когда багровые ломая плечи,
поник огонь —
ведь даже он не вечен...
И вознесясь над окаянным бытом,
над пьяным мужем,
над субботней стиркой,
она поникла над костром забытым
сухою тоненькою тростинкой.
Рука нечаянно
к руке тянулась,
да только, видно, не судьба —
не вышло...
Ушла вдоль берега —
не оглянулась,
и даже шепота шагов
не слышно...

РАЗДУМЬЯ

Пайка хлеба.
Горсть махорки.
Смоляной и едкий чай...
На студеные затворки
Март явился невзначай.

За бараком снег дымится,
покоробленный извне.
Что-то смутное таится
в этой мутной крутизне

дня, изогнутого хлестко
неуёмной тетивой...
Сизым матом
стелет жестко
неулыбчивый конвой.

Пряча в зябкие морщины
дум колючую пыльцу,
непонятные мужчины
коченеют на плацу.

Что ж, всему —
свои издержки
и постылые долги...
ну а жизнь
без лишней спешки
годовые вьет круги.

И потянет оглянуться,
как в запретное окно,
будто сердцем прикоснуться
к позабытому давно.

Не тужи –
вотще и втуне...
Глянь:
охрипшие слегка,
в жгучей солнечной латуни
злые плещутся снега.

И, как отсвет давних тягот,
сквозь пугливую светлынь
прошлогодных рдеет ягод
неотведенная стынь.

Все растает
дымкой талою,
канет, словно в полынью...
Стародавнему скитанью
где пристанище совью?

Позабытому обету;
долгожданному письму;
вороненому навету –
окаянному клейму?..

Только все ли,
только все ли
сам в себе отрину враз?
Столько соли,
горькой соли
накопилось про запас!

Не с того ль,
бедой наполнен
веклень, как фляга на ремне,
я-то знаю:
в гиблый полдень
все останется при мне.

Дня светлынь,
сомненья эти,
дум бессонные глаза, -
без чего на белом свете
обойтись никак нельзя.

Без чего, как в стылом поле
(не моя ли в том вина?),
непосильной этой доле,
этой боли —
грош цена.

Потому, без оговорки
все приемля, не серчай...
пайка хлеба.
Горсть махорки.
Смоляной и едкий чай...

ТЕ ПЕСНИ МАМИНЫ...

Какие песни
мама пела!..

И, как раздумья ни крои,
душа нечаянно робела,
касясь песенной струи...

Еще не все пришли солдаты,
еще глядели со стены
в упор суровые плакаты
неровно пройденной войны;

неоклемавшиеся дали
едва теплели впереди.
И пахли порохом медали,
светлы на батиной груди.

Но в суете послевоенной,
в круговороте мутном том
хотелось радости мгновенной,
а не обещанной потом.

Не в панихиды ль горевые
вплетался праздничный мотив?..
Летели кони вороные,
метельно гривы расстелив;

и сани с дивными коврами
спешили в свадебную ночь...
Сбывались сны,
и карты врали,
и слухи ластились обочь.

Мне в жизни той
не много места
пока еще отведено;
но и в меня
вращалась песня,
как в пашню
теплое зерно.

И, растворясь,
как будто в дымке,
прозрачный голос
плыл и плыл,
ломая тоненькие льдинки
незамутнённых тихих крыл.

Еще не спето все, до точки
(сыщи целебнее бальзам),
а бабы синие платочки
несли к растаявшим глазам.

Под говорок благоговейный.
Роняя
спеси злой фасон,
от песен тех
чужой, трофейный
вконец русел аккордеон...

...На ситцы светлые похожи,
они не вылиняют вдруг.
Те песни мамины не вхожи
В наш привередливый досуг.

Среди беспечного застолья
не наши ль сытые умы
того былинного раздолья
стыдятся сумрачно?..
Увы!

Храня заветные истоки,
высоких слов не убоюсь.
О, как мы к прошлому жестоки...
прости нас, песенная Русь.

За то, что в скорости
забыв родимый окоём,
белиберде магнитофонной
себя на откуп отдаем.

В минуты горечи летучей,
замкнув житейские круги,
душа запросит вокруг
блескучей,
прозрачной песенной строки.

Под бесприютным,
зябким кровом
не песня ль давняя проймет?..
Учиться поздно
песням новым,
а старых мама не поет...

А МОЛОДОСТЬ ПРОШЛА

1

А молодость прошла...
Ужели позабудет,
и в чем была грешна,
и в чем, увы, не будет?
Но молодость прошла...
Известие о том,
как гром небесный, грянет.
Неужто в этот дом
прозрение не заглянет?
Читаю по слогам,
прильнув к дырявым окнам:
«Беспечный балаган
по старости разогнан...»
Но слишком не тужи:
в канун громоподобья
не мальчишки – мужи
в костер роняют копыя.
Лохмотьями висят
былые наши флаги;
спасительное «яд»
горит на винной фляге.
Бесценный реквизит
хиреет возле сцены.
И холодом сквозит
бесполой дух измены...
Мой зов в былые дни
безжалостно отринут:
товарищи мои,
увы, меняют климат.

Меняют времена —
заботы их оседлы.
Ржавеют стремена,
ветшают наши седла.
Смятение души
теряя без охоты,
в неведомой глуши
стареют донкихоты.
Иной девиз распят
на их потугах тощих:
спокойно жены спят
и бдительные тещи.
Им веют сквозняки
сиятельных предгорий —
отнюдь не двойники
крамольных аллегорий...
Но я их не корю:
душою сиротея,
сжигаю на корню
недавние затеи.
И сам, обзаведясь
сосновою избою
вконец стираю связь
с обычаем изгоя.
Печальный альманах...
Но дух бродяжий (где он?)
все мечется впотьмах,
как лермотовский демон...

2

Все ближе к сорока.
И белыми ночами
гляжу я свысока
на прежние печали;
не давние дела,
сегодняшние – круче...
А молодость прошла,
как будто фильм прокручен.
Там тягостный рассвет,
там след прочерчен алый:
чему названья нет,
явилось запоздало.
Пронзительный мотив
кружится зябким вальсом:
все, чем доселе жив,
мне выдано авансом.
Похоже, неспроста
расслышу в жутком гаме:
до смертного креста
не сладить мне с долгами.
Что ж, молодость прошла...
Как младшая сестра,
Пронизанная болью,
наивна и светла,
склонилась к изголовью.
В мой сон,
в мой шаткий дом
в любое время вхожа,
жалееет об одном:
«Не тяжела ли ноша?»
Прошепчет:
«Не забудь

у зыбкого причала
себя перечеркнуть
и все начать сначала...»

3

Чернеет краснотал
обуглено и жестко.
На весь жилой квартал –
пожухлых листьев горстка.
Последние дары
до слез скупой и скудной
безжалостной поры –
юдоли безрассудной.
Не мне ее судить,
не мне ее неволить
до срока остудить
нахлынувшие боли.
У каменной стены
клянусь, как перед богом:
«Без видимой вины
освистали и оболгали».
Воскликну перед тем:
«Заветного не троньте!...»
Пока без перемен
на всем житейском фронте.
Есть смысл повременить
сжигать обжитый адрес –
залог переменить
судьбы колючий арбис.
Есть время разглядеть
натленных дум багрянец...
и покачнется твердь,
и гром небесный грянет!

Лиде

Ветви безмолвно воздеты –
 время покровы срывать...
 молодость, глупая, где ты?
 Мне ль о тебе горевать?

Мне ль, примеряя обличье
 тех незапамятных дней,
 вскрикнуть однажды по-птичьи
 в горькой печали о ней?..

Кто-то невидимый входит,
 не соблюдай часов,
 властной рукою отводит
 памяти хриплый засов.

Там, на ветру просветленном,
 как саламандра в огне,
 девочка в платье зеленом
 руки протянет ко мне.

Кинется зябнущим взглядом
 Ему ли? Судьбе ли? – вослед...
 Рядом, прислушайся, рядом
 Оклик прощальный воздет.

Катится эхо по рельсам,
 день настигая и ночь,
 катится полем и лесом –
 кто тут сумеет помочь?

И зашуршали плащами,
и заспешили дожди...
Станция наше прощанье,
ты исчезать погоди.

Но упаси от набега
полузабытой любви!..
в зарослях первого снега
гаснут мои соловьи.

В сумраке неутомленном
видно — чужая давно
женщина в платье зеленом
в черное смотрит окно.

Горечи светлой приметы
незачем больше скрывать...
Глупая молодость где ты?
Нам ли с тобой горевать?

АСТРЫ

Инне

...А дожди словно кони,
в пустеющем парке толкутся,
а цветочные клумбы
бездумно толкут сапоги.
Моя милая вновь
соберёт посередине Иркутска
бездыханные астры –
как чьи-то заплатит долги.
Точно шеи лебяжьи,
изломаны тонкие стебли,
оперенье соцветий
подошвами вдавлено в грязь.
Ты спасённым цветам
ну хоть малость надежды затепли,
только плакать не надо,
над грешной землёю склоняясь.
Чьи же души насквозь
и промозгли, и злы, и ненастны?
Кто губитель безвинной
и хрупкой земной красоты?..
Соберёт моя милая
белые – белые астры,
и поселятся в доме
согретые ею цветы.
А дожди всё гнетут,
всё толпятся и дымно, и грустно.
У поникших строений
уныл и бесхлопотен вид.

Белый праздник ликует,
горит посредине Иркутска,
словно светлое облако
в комнате нашей висит.
Только что – навсегда?..
Непогода густа как замазка,
хоть душе осиянной
со мглой не смириться вовек.
Ах, как стужей сквозит!
Вот и кончилась добрая сказка.
Гаснут белые астры
и сыплет за окнами снег...

Опять зачем-то валят лес,
и едко бьют в глаза опилки.
И вот, как будто бестелес,
стою один я у развилки.

Куда податься в поздний час?
Куда уйти от вечной смуты?
Успею ли – ведь про запас
остались, может быть, минуты.

Всё ливнем смыло: грязь и грим –
дух очищенья, как ты редок.
Но мы об этом говорим,
похоже, только напоследок...

ВСЁ ТЕ ЖЕ...

Гляди — ка, и сны безмятежны,
и розовы смутные дни:
от имени правды

всё те же

капают для нас западни.
Любой поклоняясь погоде —
любые знамена в чести —
всё те же, бессменные вроде,
как глину, нас месят в горсти...
1976

Будет ломка, ошибка, переплавка,
и – повремените там с обидой...
поднимите с грязного прилавка
хоть крупинки совести забытой.
Но отсюда совесть гонят взащей –
тесно ей под вывеской буфетной.
Скомкана она – по воле нашей –
малкою бумажкою конфетной.
С тем смирясь,
не мы ли тонем сами
в сладостной нирване дефицита?..
Как она колдует над весами,
снова – Немезида и Фемида.
Гнут в дугу нас Клавки и Маруси,
нацепив улыбки, как наклейки.
В логове усушки и утруски
мой убыток – сущие копейки...
Я и сам немею у кормушки,
хоть улыбок клеить не умею.
Этот мир утруски и усушки
я один вовек не одолею.
У Маруськи – не друзья, а боги,
блат повальный – Клавина охрана...
Где же вы, библейские пророки,
Торгашей изгнавшие из храма?
Опасаясь и добра, и худа
(в чьё подобье совесть переплавят?),
снова клянчим милости,
покуда
торгаши бесславным веком правят...

Единожды солгавши, позабудь
заветный брод
в недавнее обратно:
пусть и себя удастся обмануть –
мазутные с души не смоешь пятна.
А ну-ка загляни в себя, дружок,
и подивись рентгеновскому снимку:
там пала хмарь
на солнечный лужок,
там ходит ложь
с предательством в обнимку.
Достоинства и чести не взыскуй
от ближнего –
твоя ли это проповедь?
Как тяжело быть –
и всё-таки рискуй,
возврата нет –
и всё же надо продовать,
единожды солгавши...

Инне

Не таю ни лютоści, ни злобы,
не ищущу забвения в вине:
был и есть,
куда не занесло бы
по чужой и собственной вине.

Посреди крамольного застолья,
где враньё ценнее всяких благ,
словно и не выйдя из подполья,
всё гляжу: а где же главный враг?

Свой бокал неспешно отодвину,
ясно мне лишь трезвому вполне:
почему собрат стреляет в спину?
По чужой иль собственной вине?

На краю родного государства,
где рябины в солнечном огне,
одолею все свои мытарства
по чужой иль собственной вине.

Всё проходит, ветхим снегом тает,
только мне всего не разгадать:
ну за что же светлая, святая
всё-таки нисходит благодать?

Ничего любимая не просит,
словно бы припаяна ко мне,
отчего она меня не бросит
по чужой иль собственной вине?

По своей, а не по чьей-то воле
я к её коленям припаду
и пойму: в любом широком поле
никогда уже не пропаду...

Инне

Ведь я назвал тебя женой
перед людьми и перед богом.
И вот задуматься о многом
пора нам с этой тишиной,

что поселилась без тебя
теперь в чужом недобром доме.
А ты иной достойна доли,
иного света и тепла.

Но, как калёное клеймо,
моя вина перед тобою
спалит и это вот письмо,
опять не ставшее судьбою...

Словно провинились перед нами,
отданы разору впопыхах,
речка с меловыми берегами,
огород в когтистых лопухах;
деревенька, что на склоне века,
почернев от зябкой слепоты,
молчаливо просит человека:
«Упаси от собственной беды...»
Только где там...
Стоит ли лукавить?
Брошен плуг. Ржавеют провода.
Как легко из нас уходит память,
неужели это навсегда?..

За миску лагерной баланды
(и эту жуть не обойти?)
Какие корчились таланты,
какие кончились пути...

Когда взахлёб хлебали пойло
(а всех сплела одна судьба),
кого творила ты у стойла,
моя отчизна, для себя?..
1976

Кому дано, с того и спросится.
Спросить пораньше бы чуток...
Ведь жизнь, хотя и дароносица,
зря не подставит локоток.
На дальних выселках у времени
(за что про что – теперь пойму)
из одного мы рода – племени,
и била нас по одному.
Спивался кто-то, кто-то вешался,
пытался кто-то петь, сипя.
А кто-то всласть тихонько тешился
свободой, втиснутой в себя.
А может, вправду успокоится,
не выходя из городьбы,
как от полуночного поезда
отстав от собственной судьбы?
Или вдогон с откоса бросится,
себя ли, тень свою кляня?
Кому дано, с того и спросится,
а почему бы – не меня?..

ЖЕНСКАЯ БРИГАДА

Всё с мужиками наравне:
и смех, и мат, и перекуры...
неприхотливые натуры –
они и тут в большой цене.

У них ладони тяжелы,
и по-мужицки заскорузлы,
и скулы зноем сожжены,
да как разъять им эти узы?

Хотя своею, не мужской,
судьбой навьючены по горло,
в упряжке общей день-деньской
идут настырно и покорно.

Вбивают в шпалы костыли,
копают ямы – поглазейте...
И пусть по маковку в пыли,
зато отмечены в газете.

Зато в почёте и в цене,
и плечи каменно покаты,
как будто с веком наравне
идут ожившие плакаты.

Какая тяжесть их согнёт –
своё возьму в любом аврале...
И кто-то горестно вздохнёт:
«Да мне ли руки целовали?..»
1968, Заволжье
1988, Забайкалье,

Голосистый берёзовый воздух.
Снеговая слоистая таль.
Позапутана в канувших вёрстах,
словно в ветках, неясная даль.
Сквозь неё всё виднее околица —
и всю зазвучали уже
годовые неровные кольца
патефонной пластинкой в душе.
И мотив, что до срыва раскручен,
по царапинам давним скользя,
он велит:
всё, к чему не приучен,
мне сейчас услышать нельзя...
Не на дне ли болотного смрада,
где гасилась любая гроза,
ты твердил: «Так, наверное, надо,
и от совести прятал глаза.
И молчал там, где ждали ответа,
где пытались остаться людьми,
мог бы встать, да не встал —
и за это
ты сегодня проклятье прими.
И спасёт ли берёзовый воздух,
исцелит ли прозрачная таль:
поубавилась в путаных вёрстах
не твоя ли заветная даль?..
1986

Инне

От Кодара и до Куанды
над песком, от дождей рябым,
пламенеют густые банты
забайкальских седых рябин.

А над ними, как стая гончих,
всё летят и летят облака,
обгоняя и мой вагончик,
и нахлынувшие снега.

Те снега – только так, намётка,
да вот нам с тобой невдомёк:
завтра в озеро вмёронет лодка,
а ведь путь-то ещё далёк.

Не успели мы сладить вёсла,
не сумели мосты смостить.
Всё обыденно, просто, взросло –
Только как же нам дальше жить?

Если просто, всё честь по чести:
вымыт пол, на окне герань,
крыша новая есть из жести,
занавески – ещё не рвань.

Но, опять обделённый взглядом,
не пойму, лишь тебя любя,
почему же с тобой рядом
не хватает всю жизнь тебя?..
Куанда, 1986

ПОПУТЧИК

- Судьбоносна иль не судьбоносна
наша быль – попытай у людей.
А по мне – накормили бы сносно
да к земле воротили детей;
да вон те окаянные трубы,
что над бывшим Байкалом дымят,
посвели бы хоть малость на убыль
да тайну б не раздели до пят...
(Три войны у него за плечами,
у него ль перед нами долги?)
- Испокон за отчизну, что ж, - не смоги?..
И заносит с пустынных откосов
злую гарь, словно гиблый фугас.
И чем дальше, тем больше вопросов,
и всё меньше ответов у нас...

ДВОЙНИК

Живу, как будто завтра грянет
последний миг...

А в сердце медленно заглянет
Тот – мой – двойник,

что неподкупен и бессонен,
а не у дел,
в пустом и путаном озоне
как уцелел?

Как умудрился на распутье
и петь, и сметь,
когда ломаются, как прутья,
и жизнь, и смерть?

Я уходил от этой встречи
и вброд, и вплавь,
как от немыслимой предтечи;
что нынче – явь.

И вот сидим в изнеможенье
у трёх дорог,
у сосен трёх, как две мишени, –
взводи курок...

Но, встав с моей юдолью вровень,
следа в следы,
чего он хочет: пота? Крови?
моей беды?

Мы оба в чём-то обманулись –
там грязь и склизь.
Мы с ним навеки разминулись –
и вот сошлись.

Как два врага, как два собрата –
не разделить.
Молю: «Впусти меня обратно,
Свяжи ту нить,

оборванную мною в спешке
давным-давно...»
Не жалость ли в его усмешке:
«Нам – не дано...»

Он метит выше, видит дальше,
но в этот миг
в силках и совести, и фальши
он – мой двойник.

Как осознать, коль жребий брошен,
себя поправ,
кому дано бесправья больше
и больше прав?..

УРОН

В.П.Астафьеву

Опять звезду вручали Брежневу.
Гремел овациями зал...
Отца, неробкого по-прежнему,
сегодня я не узнавал.
Он плакал – тут, у телевизора,
как будто тот кремлёвский гам,
сминая всё, катился вызовом
ему и всем фронтовикам.
Кого косила доля адская,
кто лёг костями и кто живёт.
Простит ли полюшко солдатское
святыню отнятых высот?
Когда своими, равнодушными,
ты окружён со всех сторон;
когда губами непослушными
ты всё твердишь: «Какой урон...»
Ах, батя, батя...
Шаг печатая,
судьбой по счастью лишь храним,
опять с бутылкой непочатою
льнёшь к соокопникам своим.
Не баламуты, не отказники,
не наломают в спешке дров,
они в свои – святые – праздники
не носят нынче орденов...
1981

КУРОПАТЫ

*«...По предварительным данным там,
в лесном массиве Куропаты в 30-е
годы расстреляно около 250 тысяч
человек...» (Из газет)*

1

Там ни часовни, ни лампы,
ни обветшало́го креста...
Доныне стонут Куропаты,
и мгла над павшими густа.
Они и в нас, те беды, лягут –
нет у забвенья больше сил.
Не кровь ли капельками ягод
всё рдеет посреди могил?
Коль вправду помыслам святы,
тот пепел огненный, стучи,
покуда живы, Курапаты,
твои и наши палачи.

2

Те – живы и, доныне лживы,
спокойно правнуков растят:
они кровавой той поживы
сегодня помнить не хотят.
Они, смиренные, и вправду,
отвыкнув хвастать напролом,
хранят, как честную награду,
ту злую память о былом...
Когда хмельным безумным роем
(неужто это – наяву?)
кого вы гнали под конвоем
и добивали в этот рву.

Везли за мрачные заборы
каких неслыханных врагов?
И отпевали их моторы
Глумливых «чёрных воронков».
А там, сквозь дали осязаем,
в державной крепости – Кремле
не спал и главный ваш хозяин –
наместник бога на земле.
Ему такие не опасны –
нужны они, коль валят лес...
И – как ручьи текли лампасы,
и звёзды сыпались с небес.
Знать, не одно сомнут потомство,
в ком гроздья страха проросли,
и долго будет костоломство
почетной долей на Руси...

3

Заплечных дел Чернорабочий,
ты стар и сед,
и хил сейчас,
и всё же взгляд –
тот давний, волчий,
в тебе доныне не погас.
А ведь страшат и наши песни,
и этот стон из-под земли?
А если б всё-таки воскресли?
А если б встали да пришли?..

Инне

Отбываю к чёрту на кулички,
хоть живёт и вправду снова...
И звучат скорее по привычке
бодрые и добрые слова:
«Мы с тобою всё ещё залечим –
Все обиды, всякую тоску...»
Отогреть бы мне тебя – да нечем,
мне б спасти тебя – да не смогу.
Мне в себе самом не разобраться:
не успеть и, видно, не суметь,
хоть готово сердце разорваться
и душа готова обмереть.
Мне бродяжки одолеть привычки
не дано – уж выбирай сама.
Собираюсь к чёрту на кулички.
Помолчи.
Какие тут слова...

Разлад. Раскол.
Угасшие слова,
из книжности вы, что ли, летописной?,
Безмолвная безвыходность сама
витают над усталою отчизной.
И нет нужды, любимые, до вас,
и чужды вам – без слов –
мои надежды.
Мы от своих и посторонних глаз
в себе таимся,
злы, но безмятежны.
Но вдруг подчас сверкнёт и Стенькин взгляд,
и обомрёшь средь гама городского.
И вспыхнет неосознанный разлад,
и опалит предчувствие раскола...
1977

Уж лучше лихая неволя
(а воля-то разве была?..),
чем эта неясная доля,
несносные эти дела.
И нам бы – в передних окопах,
в густые огни мятежей,
да гнёт нас в постыдных оковах
смирренная участь ужей.
И вот постигаю науку,
мой век, отменяя враньё,
нести твою крестную муку,
лелеять прозренье твоё...
1981

Инне

Над рябиновою гроздью,
не исклёванной ветром,
пала туча грозовая,
видно, это не к добру,
А над ветхой нашей кровлей
дуновеньем неприметным
опустелое предзимье
забелеет поутру.
И поймётся запоздало:
много ль нам на свете надо,
мой единственный, заветный,
дорогой мой человек.
Это ль разве не награда –
дня высокая лампада,
что согревает это небо
и затеплит этот снег?..
1986

НАСЛЕДСТВО

Там вышки, словно кельи,
в них стынет слепота.
Там Чёртово ущелье –
дорога в никуда.

Казённые бараки –
давно бы им сгореть.
В густом загробном мраке
всего не разглядеть...

Кисет линиялый чей-то.
Помятый котелок.
Как дьявольская флейта –
раздавленный свисток.

Кирка. Сапог кирзовый.
А сверху, словно кант, –
зовущий к жизни новой
глумливый транспарант.

А здесь, куда ни кинься,
черны и зелены,
отстрелянные гильзы –
посевы сатаны...

Наследники тридцатых
и всех сороковых,
у этих нар щербатых
что вызнает о них,

кто в собственной отчизне
был проклят до поры,
кого по краю жизни
вели в тартарары?

Одну делили плаху
в распадах злых времён
и кто сломался с маху,
и кто — непокорён.

Безвестные партийцы
не ведали при том:
та святость их простится —
когда-нибудь потом...

Не праздным я туристом —
Найти — сыскать следы
Явился в эту пристань
Очнувшейся беды.

Не мне ль твердили с детства
о верности добру?..
Тревожное наследство
я в тяжкий путь беру.

И пусть мы не в ответе,
и вроде — ни при чём,
мы — тех и этих дети,
молчим —
и есть о чём...
1988, Забайкалье

Нет, мы не хлюпики, не нытики
под небом тяжким, но родным,
хоть нам твердят: мы только винтики,
ключам послушны разводным.
Из сердцевины отчей выньте — ка —
скудеет общая судьба,
коль у изношенного винтика
вконец срывается резьба...
1982

СКОПОМ

Коль голосуем —
то всем окопом;
коль полосуем —
опять же скопом.
Стегаем словом,
как будто плёткой,
в порыве новом —
с былой охоткой.
Сменили вывески
и вроде — цели.
Себя вот высекли —
и оскудели.
И в этом плаваньи
неуловимо
святое, главное
течёт — да мимо.
Ведь всё теряем
и всем рискуем,
но дело — впусе,
а словно — всуе.
Спроси без патоки —
и враз спасуем:
за что же всё-таки
мы голосуем?..
1984

Тысячелетие Руси
По маковку омыто кровью.
Свеча приткнута к изголовью –
И больше выгод не проси.
Тысячеславие Руси,
Ведь и тебя постигла стража.
Но оглянуться все же страшно
На то, чему не зарасти.
Как будто выжженный пустырь,
Чернеет прошлое незримо...
Уйти бы в дальний монастырь,
Да не спасет сегодня схима.
А хватит удали, как встарь,
Качнуть плечом у плахи лобной:
«Посторонись-ка, государь,
Тут лягу я – мне так удобней...»
(?)

ПАСТОРАЛЬ

Рысью. Намётом. Галопом. Аллюром. Карьером.
Русью. Помётом. Потопом – к недобрым химерам.
Не увернуться – до крайней межи недалече.
Что ж безбоязненно горбишь понурые плечи?

Что ж бытие твое, в общем на сладкое, шатко?..
Гривой музейной, как эхом, колышет лошадка:
Облик ее, как и твой – своенравный, реликтов –
Сколь на двоих—то убойных и прочих рескриптов...

Наша тщета сокровенная мчится – не чья—то.
Грешной природы не менее грешные чада,
Нам завернуть бы, податься тишком восвояси,
Только куда – сколь кидались из грязи, да в князи.

Остов часовни былинной над водною гладью:
Что там внизу, над глухой запечатанной падью?
Все заровнял в одночасье потоп рукотворный.
Неотвратимый. Желанный. Прекрасно—тлетворный.

Эта лошадка из давешних пожителей родом –
С вечной нуждою, налогом, кнутом, недородом
Отчины бывшей, неласковой сроду, но милой,
Гиблая лужа ей вечною стала могилой.

Нет ничего ни дворов, ни всегдашних поскотин.
Вряд ли Всевышнему крах необъятный угоден,
Вряд ли судил он покончить единым ударом
С той пасторалью под небом худым и усталым...

Где там аллюром – достало бы прыти наметом,
Пеплы взметая над гарью остатненного часа, –
Сквозь обречение, чей повод на горло намотан,
Сквозь отречение от белого кроткого Спаса.

Волга. Натальино. Атомный комплекс зловещий.
Ну, агрегат, погремушка, утеха распаду.
Мне ль отрешенно глазеть на подобные вещи –
Вот и подъехали, Сивка, к заветному аду...
(1980)

Да гори ты огнем голубым
Все, что числилось благополучьем,
Ведь сегодня под снегом падучим
Я доволен исходом любым...
Принимаю – глумись, барабан,
Рассыпайся раскатистой дробью
По скитам моим, как по гробам,
Не взыскуй лишь чужого подобья.
Не торгуясь, плачу по счетам,
Хоть сполна не осилить урока:
В преисподней зачтут, но и там
Не сдержать мне отныне упрека.
Не по жизни иду – по ножу,
Пересудом омытый, как тушью,
И с тоской, и с надеждой гляжу
Равнодушью вослед, равнодушью.
Словно тень притулилось оно,
Беспорочно в лицо мое глядя,
Утешает: «Уж так суждено,
Ничего не поделаешь, дядя...»
И – гремит барабан у ворот,
И о стенку колотится эхо.
Вот и пройден еще поворот –
Может: самая тяжкая веха...

РОМАНС

Инне

Какая морось на дворе
В канун великого потопа...
От слов в скудельном серебре
Не зарекайся, Пенелопа.
Наш огонёк взметнёт крыла
На дне остывшего шандала:
Ты столько зим меня ждала,
Ты столько вёсен отстрадала...
Надежду верой обнови —
Мы в тяжкий путь пустились оба.
Но парус соткан из любви —
Не отрекайся, Пенелопа.
Она готова нас позвать,
Не тратя лишних причитаний,
И нам грешно не опознать
Её небесных очертаний...
Молитву тихо сотвори,
Когда, не ведая ущерба,
В ладони зябкие твои
Последний снег уронит верба.
Пусть озарит лишь нас двоих
Воскресный промельк нераздельный,
И слёз целительных твоих
Я осушу сосуд скудельный.
В толпе завистливых кликуш
Не расплескать бы, Пенелопа,
Нетленный праздник наших душ
На самом краешке потопа...
1988 г.

ПРОЩЁННЫЙ ДЕНЬ

Вот и дожили мы до Прощённого дня.
Отскреблись и отмылись. Сложили дреколье.
Два словечка не частых: «Простите меня...»
Прошептали стыдливо в смиренном застолье.

Сколько выдано нам неотправленных дней
И отпущено впрок воскресений прощённых,
Как возвращённых колосьев меж чёрных камней,
И неловких долгов впопыхах возвращённых.

Нас во многих правах уравнивает земля —
Та, что кинут вослед нам щепотью скупую,
Та, которую в брани и сваре деля,
На последний паром не захватим с собою.

По одним убывать нам отсюда стезям —
Неминуемым, кровью ошпаренным сходням...
И врагам поклонюсь, как заклётым друзьям, —
Сколь кичиться хулой перед ликом Господним?

Чей там посвист разбойный средь кучи-малы?
Кто развеял крапивное семя раздора?
И — забыли про всё. И взялись за колы.
День прощенья минул. Ну, а новый не скоро.

ВОСПОМИНАНИЯ

Макису Эдигарову

В белом греческом доме на окнах цвела тишина,
И бродяжьей душе поневоле просилось согреться.
Из заоблачной выси входила чужая жена,
И разбитым кувшином к ногам её падало сердце.
На ступеньках щербатых хрустели, крошась, черепки —
Неживые предметы, людской начинённые болью,
И назвал эту боль я желаньям своим вопреки,
Как и тысячу лет до меня называли, Любовью.

И светало во мне. Я у бога просил немоты,
Словно к чуду боясь прикоснуться и взглядом, и словом.
Ах, как праздник пылал посредине людской маеты!
А рассудок мой грешный тянулся к незримым обновам.
... усмехнется мой друг: да не ты ли мне клялся — я ваш...
Он моей немоты неспроста в этот миг не заметит.
Он вино разольёт на двоих, он разломит лаваш
И печальной улыбкой ночное застолье осветит.

Соберёт черепки, умудрён, как Всевышний, и стар,
Будто алые угли на белую скатерть положит.
Головой покачает: «Есть рядом искусный гончар,
Но, похоже, и он этой горькой беде не поможет...»
Я на стылую землю сойду с отдалённых вершин,
Оборву на излёте любви невеселое скерцо:
«Эй, гончар, научи, как мне склеить разбитый кувшин?
Из чего изваять, посоветуй мне, твёрдое сердце?»

Но лишь эхо плеснётся с церковной резной горотьбы...
Купола пламенели. Досужие галки галдели.
И замшелые камни задумчиво хмурили лбы,
И столетья, прозрев, удивлённо из праха глядели.
А на окнах всё та же белела во всю тишина.
И густела за далью высокого утра изнанка.
Там по скользкой тропинке сквозь дымное облако шла
За водою живой молодая, как вечность, гречанка.
1975

Петербург, я еще не хочу умирать...

О.Мандельштам

Петербург, я ещё не хочу умирать,
Первопуток предутренный кровью марать.
Видит Бог, не желаю я боли ничьей —
Только, что нам начислит судьба — казначей?

Не к твоей ли обугленной справа преник
В октябре окаянном лихой броневику —
И поник ты, истаял, как тлен, невесом,
Под рубчатым распастан его колесом.

Долгий данник его и немой вестовой
На прилипшей к затылку густой мостовой,
Не минует и нас на меже верстовой
Ни потоп низовой, ни пожар верховой.

... На Сенатскую площадь впотьмах выхожу,
Перебитой рукою тянусь к палашу,
Зябкий кивер пороши надвинув на бровь:
Вот удел мой скудельный — и не прекословь.

И не верь, что меня извели-замели:
Я ещё подымусь из-под зыбкой земли
И возникну из давних и нынешних пург,
Запоздало листая роман «Петербург».

1989

АНТИУТОПИЯ

В Гефсиманском саду то ли евнухи, то ли блудницы
(нынче как распознать, не разденется коли до пят)
На волынках визгливых зудят и плетут небылицы,
Прибаутки на англише ньювасюковском хрипят.

Суетливый народец, отчизны не помнящий выкрест,
Не страшится бесчестья, ханыжной сумы и тюрьмы.
В облаках и на суше — везде воплотился Антихрист,
И всю перед ним мечут бисер архангелы Тьмы...

Что сыщу я, скиталец, в чужих синтетических куцах
И кого повидать в бесприютном пространстве спешу,
Стиснут скопищем вывесок, пришлых разинь стерегущих:
Лупанарий. Концлагерь. Паноптикум. Курсы У-шу.

Под тесовой резьбой, как толково гласит указатель
У безлюдного входа в музей «Допотопная Русь»,
За ничтожную лепту квитки выдаёт предсказатель:
«Вот и все, что сбылось, а конец угадать не берусь...»

Ну, а мимо изгой, безымянный безродный прохожий,
Удостоен тавра на печальном челе —
Волочит матрасовку с питейною тарой порожней
И — минуя черёд — на халяву хлебнуть норовит.

Я не сторож ему, да и он мне, вестимо, не стражник.
Пусть не чует вины мой былой заповедный собрат:
Из совместных преданий и былей пожизненно страшных
Нам и складчины скудной приязней святых не собрать.

Не дивясь созерцаем, как в реве и воплях утробных,
Поскидав для удобства личины свои и портки —
О, двуногие твари! — костями себе же подобных
Забавляются в час новомодной игры в городки.

И, как прежде, едва пятилетняя эра минует,
Неизменным зубилом терзая огрызок скалы,
Покупной летописец о славных делах повествует,
Связно путая знаки любезной хвалы и хулы.

С неуютным эстетом рифмуются дружно кастеты —
Подбирай по руке и без робости скулы дробы.
Правит ненависть миром и множит недобрые меты,
А живым существам невозбранной охота любви.

Вифлеемский светильник прилажен над смрадным вертепом —
Не отмоешь очей, ненароком вблизи окажись.

Но бредёт Богоматерь — с младенцем — мертвеющим небом
В непечатое лихо, название коему жизнь.
1989

ОБРОК

Везут авоськи, сумки и мешки
Из дальних сёл
В такой неблизкий город.
И вянут невесёлые смешки,
А для весёлых не сыскался повод.
У горожан горячая страда...
А тут — как встарь:
И рощица погасла,
И коченеет в колесах вода,
И гнутся долу сгорбленные прясла.
И хоть заботы больше о себе,
А взглядом,
Не хотел бы, да пристанешь:
всё меньше новоселий на селе,
всё больше заколоченных пристанищ.
И сквозь кудель родительских щедрот
Проймёт догадка, тягостна и млечна:
Не вечен материнский огород
И поле обмелевшее — не вечно.
А мы всё дальше, дальше от села...
Какой судьбы
Мы так настырно ищем?

Но доведётся ль самого себя
Вдруг осознать обобранным и нищим?
И вот замрёшь на выжженной стерне,
Предчувствием настигнут невесёлым:

Не дай-то бог в родимой стороне
Целинным очутиться новоселом...
1973

И всё-таки — выжить, спастись, уцелеть
В бедламе постылом, содоме постыдном,
Где падшие души в бетонную клеть
Подошвами вбиты и названы быдлом.

Там денно и ночью, всегда по прямой,
В затылок, припаянный к тени сутулой,
Замочная скважина в злобе немой
Нацелена, как пистолетное дуло...

И все-таки ждёшь перемен и чудес,
В подол искупленья вцепившись по волчьи;
Всё чаешь: удастся по воле небес
Собрать с пепелища хоть жалкие клочья.

И вновь по-сократовски хмурия чело,
Терзаешься долгой загадкой земною:
Ну ладно, спасёшься — а ради чего?
Ну выживешь вдруг — а какую ценою?
1981

Просеяны в дьявольском сите,
К забытым делам воротясь,
Мы всё-таки скажем: «Простите
За всю неминуемую грязь,
Какую на грубых подошвах
Постылым довеском несли...»

На теле, на простеньких прошвах
Узоры судеб проросли.
Пришли вот — и, праздник отринув,
Назад поглядеть норовим.
Там снег и доныне рубинов
Под небом печальных равнин.
И в кущах всеобщего рая,
В домашней пугливой красе
Припомним: у самого края
Не все устояли, не все...
1978

ПАСЫНКИ

Когда зарница, как блесна,
Сверкнёт в густом бродяжьем мраке,
«не для меня придёт весна...» —
Поют в полголоса в бараке.

Поют, баюкая покой,
Не чуя песенного дара,
И — как цыганка — под рукой
Гортанна хриплая гитара.

Устав от мата и битья,
Блуждают помыслами где-то —
Нещадной книгой бытия,
Знать предусмотрено и это...

В урочный час ударят в рельс —
И понесут грехи и шрамы,
Но как игра под интерес,
Жизнь продолжается упрямо.

И вроде не о чем тужить —
Забылись женщины и брашна,
Зато всё чаще старшно жить
И пропадать совсем не страшно.

Ведь не откроется сезам,
А в том кондовом распорядке
Встречать привычно по слезам,
Но провожать по волчьей хватке.

Не потому ль бездонье том,
Где не для них денница брезжит,
Сквозная песня, как ножом,
Гортани замершие режет?

Пусть по заслугам скорбный труд
И взглядов высверки косые,
Куда ж те пасынки бредут
Твоей обочиной, Россия?
1981

ЭЛЛИН

Время своё безвозмездно брало:
Только взаправду — своё ли?..
Снегом тебя занесло, Авранло,
Или сугробами соли —
Той, что копилась в очах искони,
Горечью сдобрено вдосталь.
Скудную память хоть плетью гони,
Но забывается просто ль
Храм, на поклонной горе вознесён,
Галочья копоть на храме;
В Лету вплетает, как горестный сон,
Речку по имени Храми.
Что там, на донышке жутких решет,
Кем этот просевень волен?
Мёртвые камни зачем стережёт
Ветхий обугленный эллин?
Весь из забвенья, из небыли весь,
Суше скорлупины грецкой,
Мова его — самодельная смесь
Клёкота с речью турецкой.
Те, кто его распинали тайком
И костерили басисто,
Не распознают в обличье таком
Дерзости контрабандиста.
Жизнь будто взял ненароком займы —
С краю безродно мостился;
Лишь перегон до самой Колымы
Камешком не докатился...
Брежет раздолье эгейской волны
В снах мельтешащих, как плицы
Вы ли в смятенье своём не вольны,

Словно надгорные птицы.
Мостик да галька, да стылый песок,
Ветра чужого зовучесть
В горле ручья, что давно пересох, —
Всё, что вмещается в участь.
И низвергается с горних высот
Эхом надломленный возглас:

— Кто ты, себя позабывший народ?
— Охлос мятущийся, охлос...

Не много же счастья на графских развалинах
В рассрочку отпущено мором и голодом.
Докуда в геенне артельной разваренных
Клейменое благо приводит прикладом?
Как просто и ясно: колун, да колодина,
Да морозь в подвалах оцепенелых.
Черны манифесты и дни твои, родина,
Червоны делёжки на красных и белых...
Бездомное семя былых супротивников,
Кто попусту в сечах друг дружку разили,
Под вязким приглядом оперативников
Затолкан прикладом в позёмки России —
Пропавший и грешный, пусть синью, да вымою —
Небесной, беспошлинной — давние болести.
Какую пощаду у века я вымолю —
А он всё пролётом, на взмыленной скорости.
И ранняя пасха давно не мерещится,
И свычна глазницам полынная примесь.
Моя ли гордыня обобрано мечется
И тщится осилить исконную привязь?
Куда же и с кем мы сквозь наледь покатую,
В миру — заединщики, в думах — раскольники?
Наследья заклётого зябь небогатою
И мерим, и зрим со своей колоколенки.
Видать отовсюду: промозглая очередь
Лелеет осадой райские двери.
И ясно зане: там, внутри — ничего-то ведь...
Но чуда алкают и люди, и звери...
1981

ПОДРАЖАНИЕ ПЕСНЕ

Словно тихое зарево,
Неприметное, вроде бы,
Начинается заново
Обретение родины.

Уходили — судачили
Про удачи мгновенные.
Провожали нас плачами,
Будто в пекло военное.

На любом подоконнике,
Тихой грустью увитые,
Горевали гармоники,
Словно девки на выданье.

Все менялось со временем:
Стали глади оврагами,
Стало тягостным бременем
То, что чудилось благами.

Эти хитросплетения
Взять бы вынуть из памяти...
Уходил из цветения —
Возвращаюсь по наледи.

Обмануло везение.
Остудило до донышка.
Прорастает презрение,
Как озимое зёрнышко.

Средь житейской окаины,
Среди жатвы затеянной
Нет милее окраины,
В дальних зовах затерянной.

Но покуда несло меня
В хмарь, что пройдена-видана,
Все гармоники — сломаны,
Все девчонки — повываны.

Полной лептой оплачено
Все, что греет и светится...
Опоздала ты с плачами,
Постаревшая сверстница...

РОЖДЕСТВО

А.Б.

Ведут — и некуда деваться —
Христа босого под конвоем
Апостолы, числом двенадцать,
Объятые метельным воем.
Им всё обещано заранее
Не в небесах — земля поближе:
И дармовой сугрев в стакане,
И мировой пожар в Париже.

(Но и апостолы подале
Своё отпели-отрыдали:
Кто в чрезвычайке петроградской,
Кто в безымянной свалке братской.
На четвертушке приговора
Завьёт петлю корявый росчерк —
И крохобор падёт от вора,
От соглядатая — доносчик)

— Пошто ты, Отче, веришь свято
В канун рождественской недели,
Что прозревающее стадо
Ведёшь сквозь бранные метели?
И кто кого впотьмах пытается
На дне безмолвья городского,
Где венчик белый опадает
В лузгу беспамятства людского?...

Уж пламень белые одежды
Зловещей киноварью красит,

А Он нездешние надежды
В очах обманутых не гасит.
Идут двенадцать валким строем.
Звенят штыки, гремят приклады.
— Кого ведёте под конвоем?
— Про то и мы проведать рады...

Распят бессонницей и голодом
В проёме неба, будто в раме,
Христа обнимет долгим взглядом
Поэт с истошными глазами.
Он невредим и жив покамест,
Хоть час настал клониться долу,
И не слагается акафист
Краснознамённому престолу.

Какая мга вокруг зияет...
Не прозвенит в ночи бубенчик...
Но отчего ж в душе сияет
Христов осыпавшийся венчик?
Как поминальными свечами,
Оплачут блоковские строфы
Ещё не знаемые печали,
Ещё не зримые голгофы...
1980

ПРОВИНЦИЯ

Там забияки, сводни, клоуны;
Там в квёлых мальвах — сонь, да глушь;
Там ножки женские изломаны
Сквозным подглядываньем луж;
Там горделивостью окрашены
В разгар братаний и вражды,
Влачат саманные окраины
Пустые розвальни нужды.
А вот с плакатиком рисованным,
Где белы голуби парят,
Я в пиджачке перелицованном
Шагаю браво на парад.
... Там слухи, юркие как всполохи;
И, не отмывшись добела,
Не лежебоки и не олухи
Костят всевышних с похмела.
Кому страшна твоя амбиция? —
Смоли махру, тyani свой гуж,
Эх, пугачёвская провинция
В хмельном подмигиваньи луж...
1969

Владимир Чиликин — родился 6 июля 1947 года в селе Саратовское Заволжье. Работал плотником строителем, журналистом и редактором районных и областных газет. Публиковался в журналах «Подвиг», «Волга», «Дальний Восток», «Подъём», «Дружба», «Сибирь», «Урал». Автор сборника стихов «Предзимье». Умер в 1999 году в г. Кыштым.

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ИЗДАНИЕ
СЕРИЯ «Антология РЕАльной Литературы»

Владимир Чиликин

Прощённый день
Стихотворения

www.lulu.com
www.promegalit.ru

Подписано в печать 25.02.2016 г.
Формат: 148х148 1/16
Тираж: 400 экз.